

А.Я.ГУРЕВИЧ

ПРОБЛЕМЫ ГЕНЕЗИСА ФЕОДАЛИЗМА В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ



А. Я. ГУРЕВИЧ

ПРОБЛЕМЫ ГЕНЕЗИСА ФЕОДАЛИЗМА В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ

Допущено

Министерством высшего и среднего специального образования СССР
в качестве учебного пособия для студентов исторических факультетов



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВЫСШАЯ ШКОЛА»

Москва — 1970

9(M) 1
Г95

1—6—3
323—69

ПРЕДИСЛОВИЕ

Возникновению западноевропейского феодализма посвящена обширная литература. Научная и общественная актуальность этой темы понятна. Становление феодального общества в Европе — это и начало истории населяющих ее народов. Ныне, в период ломки старых социальных порядков и развития социализма, не может не быть велико внимание к эпохам смены общественных формаций. Раннее средневековье в истории Европы явилось тем моментом всемирной истории, когда завязался узел, в котором сплелись пути развития трех общественных форм — античного общества, общества варваров, зарождавшегося феодального общества. Естественно поэтому, что в период раннего средневековья должны были выявиться закономерности развития различных социальных форм. Все это делает эпоху раннего средневековья интересной для историка, философа, социолога, поучительной в теоретическом отношении.

Но хотя процесс становления феодализма многократно и с разных сторон изучался историками, в нем немало неясного. Чем глубже в предмет проникает мысль ученых, тем больше новых вопросов возникает перед ними. Новые проблемы требуют все новых и новых подходов к старым темам, рассмотрения их с иных точек зрения.

Проблема генезиса феодализма и связанный с нею вопрос о путях складывания феодально зависимого крестьянства представляет трудность и с источниковедческой, и с теоретической точек зрения. Даваемые историографией решения не всегда убедительны. Для дальнейшего изучения этих вопросов необходимо привлечь

новый материал, почерпнутый не только из истории тех стран, которые обычно находились в центре внимания исследователей, но и из истории народов, остававшихся до недавнего времени вне поля их зрения.

Но дело не только, а может быть, и не столько в расширении круга источников и области, охватываемой исследованием. Трудности, возникшие перед современной историографией, в немалой мере вызываются, на наш взгляд, недостаточной ясностью применяемых ею понятий, без которых историки не могут обойтись и которые именно поэтому нуждаются в уточнении и углублении. Понятия исторической науки сплошь и рядом употребляются в обществе, к которому принадлежат сами историки; естественно, эти понятия соответствуют специфике современного историкам общества. Однако наука прилагает эти понятия к иным эпохам, и неизбежно должен возникнуть вопрос, в какой мере правомерна подобная операция, не нуждаются ли при этом общие категории в переосмыслении и насыщении исторически конкретным содержанием, отвечающим отношениям изучаемой эпохи? Нам придется вдуматься в такие категории, как «собственность», «богатство», «свобода», «зависимость», «индивид» и другие, — каков их смысл в контексте эпохи раннего средневековья?

Нередко бывает так, что историческое понятие, создавшееся в одной стране и отвечавшее отношениям определенного периода, переносится историками затем в другие периоды и применяется к иным формам социальных отношений. Но не вызывает ли такое расширительное употребление понятий деформации картины исторической действительности, рисуемой при посредстве этих понятий? Стало общепринятым писать и говорить о закрепошении свободных общинников и о крепостных крестьянах Западной Европы в период раннего средневековья. К сожалению, обычно не задумываются над тем, аналогичны ли описываемые при помощи таких категорий отношения крепостничеству Восточной Европы периода XV—XIX вв., не привносим ли мы таким образом чуждые раннему феодализму порядки, сложившиеся в специфической обстановке конца средних веков. «Прочистка» понятий, уточнение их с целью более правильного употребления при изучении истории возникновения феодализма совершенно необходимы.

Столь же важны содержание и характер применения

наиболее общих философско-исторических категорий, которыми пользуется наука. Смещение логического аппарата науки с конкретно-историческим процессом и подмена первым последнего — важное препятствие на пути исследования. В результате из истории исчезают многоплановость и многообразие живого процесса, она схематизируется. В этой связи мы считаем целесообразным остановиться на вопросе о применимости понятия «классического» типа феодализма.

Кроме того, мы убеждены, что должен быть расширен самый круг вопросов, составляющих общую проблему генезиса феодализма. В советской историографии становление феодализма рассматривалось в первую очередь в аспекте вскрытия сдвигов в производительных силах, в отношениях собственности и социально-экономическом положении непосредственных производителей. Эта проблематика изучается и в нашей работе. Поскольку в основе освещаемых в книге вопросов лежит мысль о том, что феодализация заключалась прежде всего в смене одной системы социальных связей другой, было бы важно взглянуть на процесс перехода от варварского строя к феодальному и в свете таких наук, как социология и социальная психология. Изучение генезиса феодализма под указанным углом зрения предполагает постановку вопроса об отношении индивида и социальной группы, отношении отдельного человека и общества в целом. Как и всякий исторический процесс, генезис феодализма проходит через живых людей. Поскольку феодализм — это система отношений между людьми, следовательно, и изучение его возникновения и развития должно быть направлено на расшифровку социальных процессов в самой человеческой практике. Формирование новых связей между людьми вызывало сдвиги также и в их духовной жизни. Речь идет как об отражении социально-экономических процессов в сознании людей, так и о теснейшем переплетении и взаимодействии этих линий развития. Между тем вопросы развития общественного сознания в период раннего средневековья почти вовсе еще не ставились в науке, не ясны проблематика такого исследования, его методы и возможности, которые оно могло бы открыть.

Хотя названные проблемы очень сложны и слабо раз-

работаны, книга рассчитана преимущественно на студентов-историков, а не на специалистов-медиевистов, знакомых с многообразными точками зрения, высказанными по каждому конкретному вопросу. Автор исходит из убеждения, что студент должен усваивать не только давно устоявшиеся и всесторонне обсужденные выводы науки, казалось бы, не вызывающие споров, — он должен иметь представление и о новых проблемах. Он должен знать, что в истории, как и в любой науке, имеется масса «белых пятен», подчас даже и тогда, когда «на картах» (в данном случае — в учебниках и пособиях) они закрашены. В науке не существует раз навсегда решенных вопросов. Ввести начинающего историка в самую гущу научных споров, натолкнуть его на размышления над проблемами, встающими перед исторической наукой, желательно и потому, что таким путем скорее всего можно воспитать в нем пытливость, необходимую ученому, и потому, что от молодого поколения историков и должно ожидать постановки новых вопросов, поисков нетрадиционных путей решения вопросов, унаследованных от старших поколений исследователей.

В книге не излагаются основные факты истории генезиса западноевропейского феодализма, приводимые в учебниках, поскольку предполагается, что читатель знает общую характеристику феодального строя и направление процесса его становления.

Книга не содержит также детального анализа исторических источников и обильных ссылок на специальную литературу; ссылки делаются преимущественно в тех случаях, когда автор непосредственно полемизирует с иной точкой зрения либо когда он чувствует себя обязанным опереться на тот или иной научный авторитет. В книге рассматриваются лишь некоторые проблемы истории раннего средневековья¹.

Автор благодарен всем коллегам и друзьям, читавшим и обсуждавшим рукопись и высказавшим свои замечания и пожелания.

¹ Уже после сдачи рукописи в набор вышел в свет сб. «Средние века», вып. 31 (1968), в котором опубликованы материалы научной сессии «Итоги и задачи изучения генезиса феодализма в Западной Европе», проходившей в Москве в мае — июне 1966 г.

ВВЕДЕНИЕ

ФЕОДАЛИЗМ: «МОДЕЛЬ» И ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Феодальная формация характеризуется противоречием между крупной собственностью на землю и мелким производством крестьян, внеэкономическим принуждением, необходимость которого проистекает из этого основного противоречия, — поскольку крестьянин ведет самостоятельное хозяйство, то присвоение его прибавочного продукта возможно лишь путем применения насилия в той или иной форме. С этой системой производственных отношений сопряжены такие черты феодализма, как условный характер феодальной земельной собственности и иерархическая ее структура, а равно и иерархия господствующего класса. Такое понимание феодализма дает прочную научную основу для изучения конкретных вопросов истории средневековья.

Но когда мы переходим от самых общих абстракций и определений к применению их к конкретному исследовательскому материалу, то приходится признать, что нынешний этап изучения феодального строя в Европе характеризуется известной двойственностью, даже противоречивостью. Накоплен огромный новый материал; в круг исследования вовлечены многие явления, которые не были отмечены и оценены исторической наукой XIX и начала XX в.; ряд вопросов, казавшихся прежде бесспорно и окончательно решенными, пересмотрены и углублены. Современное знание о феодализме охватывает не только историю Франции, Англии, Германии, но и историю многих других стран, развитие которых ранее не принима-

лось во внимание или было недостаточно изучено: Италии, Испании, Скандинавских стран, Византии, Руси, западных и южных славян. Вместе с тем в историческом прошлом «классических» стран средневековья заново изучены такие периоды, которые оставались относительно «темными», например ранние этапы истории Италии, англосаксонский период в истории Англии. В результате эти страны Запада перестали фигурировать в научной литературе как нечто однозначное и монолитное. Выяснилось, что в каждой из них существовали области, характеризующиеся значительным своеобразием социально-экономического уклада, различными историческими судьбами: таковы, например, во Франции — Бретань, Южная Франция, Нормандия, Лотарингия, в Англии — Денло, северные графства, Кент. Собственно говоря, многоликость социального строя на территории средневековой Европы не вырисовалась впервые перед современной наукой — о ней в той или иной мере было известно и прежде, — но, пожалуй, впервые это многообразие стало научной проблемой.

Вопрос осложняется тем, что хотя наука располагает сейчас несравненно большим, чем прежде, и хорошо изученным материалом по истории феодализма почти во всех странах Европы, понятийный научный аппарат, которым пользуются историки, остается по сути дела неизменным. Наши теоретические представления о феодализме по-прежнему опираются на обобщения, сложившиеся на предшествующей стадии развития историографии, и в основе их неизменно находится то изображение феодализма, которое вынесли историки преимущественно из изучения страны, считавшейся средоточием европейского феодализма, — Франции.

Когда мы говорим о прекарии, иммунитете, о монополии феодалов на землю, выразившейся в известном принципе «нет земли без сеньора», о рыцарстве как корпорации, о всеобщем господстве феодального права, о развитой иерархической лестнице вассалов и сеньоров, то по сути дела мы имеем в виду французский, а точнее говоря, северофранцузский феодализм в XI—XIII вв., ибо, обращаясь к общественным отношениям в других странах Европы того же периода, приходится отмечать отсутствие, недоразвитость или специфичность названных институтов.

Правда, необходимо при этом отметить, что в русской историографии классическое понимание феодализма получило несколько иную окраску, обусловленную, в частности, необходимостью передать по-русски ряд понятий западноевропейских. Так, эквивалентом западной *poblesse*, *nobility* стало дворянство, *Grundherrschaft* — вотчина, *Gutsherrschaft* — поместье, *servage*, *villainage* — крепостничество. Совершенно ясно, что эти понятия, возникшие в связи с развитием истории России, не являются точными и адекватными эквивалентами указанных западноевропейских институтов. Сколько бы мы ни оговаривали условность этих терминов в их применении к западноевропейской истории, они по давней традиции несут определенный отпечаток, наполнены специфически русским историческим содержанием и «освободить» их от него наука уже бессильна. Когда мы говорим о «закрепощении» крестьян во Франкском государстве, то независимо от того, что историк сознает существенные отличия этого процесса от закрепощения русского крестьянства в XV—XVIII вв., читатель воспринимает преподносимый ему материал по-своему, и удалить из создаваемой им мысленно картины чуждые раннему средневековью моменты оказывается невозможным: слова неразрывно слились с определенным, исторически заданным смыслом. При этом еще возникает вопрос: а всегда ли и сам историк отчетливо сознает двусмысленность применяемой им терминологии и избегает ли он всех связанных с нею опасностей? ¹

Итак, едва ли можно сомневаться в том, что характеристика феодализма, которой мы пользуемся, строится на его признаках, встречающихся по большей части в истории одной страны, с добавлением отдельных черт его, позаимствованных из истории других стран. Все эти критерии феодализма сведены в логическую схему, своего рода «модель» так называемого классического феодализма. При применении же этой характеристики ко всем странам средневековья неизменно и совершенно естественно обнаруживается несоответствие действительных социальных условий, существовавших в других странах, тому общему представлению о феодализме, с которым историк подходит к их изучению. Есть, разумеется, нечто общее, на основании чего ученый говорит о феода-

¹ См. ниже, гл. I, § 1 и гл. III, § 2.

лизме, но он всякий раз сталкивается и с чертами «аномалии», несоответствия «норме», общему определению. Отсюда часто встречающиеся высказывания о «нетипичности», «недоразвитости», «незавершенности» феодализма в разных странах Европы.

Каков действительный смысл подобных утверждений? Нам кажется, что мнение о французском феодализме как классическом связано с логической ошибкой. Если общая картина феодализма действительно сложилась на северо-французском материале (строго говоря, на материале истории одного лишь Парижского бассейна), то такому определению феодализма и может соответствовать полностью только одна часть Франции. Но и здесь возникают трудности, ибо господство крупного барщинного землевладения, опиравшегося на серваж и функционировавшего в условиях преобладания натурального хозяйства, с развитой частной сеньориальной властью землевладельцев, ленной иерархией сеньоров и вассалов и при слабой власти короля относится, собственно, лишь к ограниченному периоду в истории даже и самой Северной Франции. Но и на этой территории черты «незавершенности» феодальной системы переплетались с признаками ее трансформации даже и в X, и в XI, и в XII вв., не говоря уже о последующем периоде, характеризующемся рядом новых («неклассических») явлений.

Таким образом, теоретическое представление о феодализме есть «модель», сконструированная, однако, не столько на основе обобщения широкого круга данных, сколько путем возведения в норму конкретного материала, полученного прежде всего из изучения истории одной области Франции за не слишком определенный и краткий отрезок средневековья. Ясно, что в результате подобной операции область Франции, расположенная между Луарой и Рейном, становится «классической» страной феодализма, а все другие страны, к которым прилагается созданная таким образом «модель», в той или иной степени до нее «не дотягивают» и оттесняются в разряд стран с феодализмом «неклассическим», «нетипическим» и т. п.

Роль общих понятий, абстракций и теоретических моделей в науке трудно переоценить. Без них невозможно никакое научное познание. Однако, нам думается, медиевистика не вполне избежала опасности смешения «моде-

ли» с реальностью при конструировании картины феодализма. Эта «модель» «работала», в течение длительного времени она имела положительное познавательное значение, поскольку при ее помощи удавалось охватить значительное количество фактов и установить универсальность феодализма в Европе. Но вместе с тем в процессе этих исследований вскрылось и нечто иное, а именно — глубокое своеобразие общественного строя каждой из стран. Мало того, наукой выявлены и повторяющиеся черты, которые встречаются, скажем, в Англии и в Швеции, в Норвегии и на Руси, но которых мы не найдем во Франции. На основе общепринятого определения феодального строя эти черты своеобразия историки расценивают как признаки «недоразвитости», «незавершенности» феодальной системы в данной стране: в ней не досчитываются некоторых признаков, предусмотренных определением, повторяющиеся же, но не характерные для Северной Франции черты не получают должной оценки и оттесняются на задний план, ибо считаются «нетипичными» — ведь их нет в «классической» модели.

Вот конкретный пример несоответствия фактов теории. В процессе становления франкского феодализма прекарий и коммендация играли огромную, можно сказать, определяющую роль. Между тем ни в саксонский период истории Англии, ни в Скандинавии, ни на Руси, ни в Византии мы подобных институтов не найдем. Становление феодализма протекало здесь иначе. Зато колоссальное значение в процессе феодализации во всех перечисленных странах имело явление, известное на Руси под названием «окняжения»: дани и приношения, угощения и кормления всякого рода, взимавшиеся еще племенными вождями со свободных соплеменников или с покоренных народов, со временем эволюционировали частично в государственную подать, частично — в феодальную ренту, а само население, их платившее, превращалось в зависимых людей государя либо того магната, дружинника или церковного учреждения, которые присваивали право сбора этих угощений и платежей¹. Этот процесс выразился в Англии в королевских пожалованиях бокленда, в скандинавских странах — в институте вейцлы, в Древнерусском государстве — в системе полюдья и кня-

¹ См. ниже, гл. I, § 1, гл. III, § 1.

жеских погостов. В Византии, где истоки этого развития были, разумеется, иными, чем в других названных странах, в которых феодализм развивался на основе трансформации родового строя, государственная рента-налог, взимаемая с париков, превращалась в феодальную ренту. Эти явления давно известны, но место их и значение в генезисе феодализма в соответствующих странах трудно было научно определить, так как «классической» картине генезиса феодализма они не отвечали. В результате возникали серьезные трудности при понимании путей формирования зависимого крестьянства в целом ряде стран Европы.

С отмеченным сейчас явлением тесно связано и другое: образование господствующего класса феодального общества, его структура и его отношение с центральной властью. Ибо при возникновении феодальной ренты из дофеодальных «кормлений» подчас не создавалось условий для интенсивного развития частной власти феодалов и глубокой социально-правовой деградации свободных крестьян, не порывались все нити, соединявшие их с государством. Короче говоря, складывался иной тип феодализма по сравнению с феодализмом «классическим». Но в рамках господствующей в науке теоретической «модели» феодального строя этот иной тип не может получить полного признания. Он все еще воспринимается как нечто не характерное и не отвечающее полностью признакам феодализма, как некая аномалия, в лучшем случае — как побочный вариант, ответвление от «столбовой дороги» истории средневековья.

Таким образом, принятая теория феодализма не отражает ряда существеннейших черт социального строя, широко распространенных за пределами Франции. Конечно, теоретическая картина не может, да и не должна отражать всего богатства реального эмпирического мира, но в данном случае речь идет о том, что принятая теория феодализма исключает такие его черты, которые на значительной части территории Европы являлись ведущими и конститутивными. Применение традиционной теории феодализма к нефранцузскому материалу ведет к недооценке своеобразия социального строя в «неклассических» странах средневековой Европы. Историкам, руководствующимся этой «моделью», приходится повсеместно выделять те признаки феодализма, которые ею преду-

смотрены; иные же его черты, не предполагаемые «моделью» или даже противоречащие ей, именно поэтому отбрасываются как несущественные или не могут получить должной оценки: они кажутся незакономерными и второстепенными явлениями.

Но теоретическая картина, «модель» вырабатываются в науке не таким образом, что определенный частный случай по известным причинам возводится в общую норму, с которой затем как с эталоном сопоставляются все другие варианты; «модель» конструируется как связанная система признаков, заимствуемых подчас из разных реальных образований, принадлежащих к одной группе и потому движущихся по общим законам; созданный научной мыслью идеализированный объект функционирует согласно этим законам и воплощает черты, принадлежащие в той или иной степени всем разновидностям данной группы; будучи свободна от специфичных признаков, затемняющих действие общего принципа, «модель» служит средством раскрытия в частных явлениях наиболее существенного и закономерного. Если же за общую «модель» взят образец, представляющий по сути дела лишь частный случай, то такая «модель» перестает действовать и из средства познания превращается в препятствие для адекватного уяснения существа общественных отношений, не соответствующих принятой теории. Не произошло ли именно так с «моделью» феодализма, которой пользуются историки?

Ныне историки все вновь и вновь убеждаются в том, что гетерогенность социальных форм в докапиталистические эпохи была исключительно велика, и подведение всех древних обществ под однозначное определение рабовладельческого строя либо отнесение всех обществ средневековья к феодальному типу встречается с непреодолимыми трудностями. Неотъемлемой чертой всех докапиталистических обществ, вышедших за пределы первобытной общины, является многоукладность социальных форм. Это явление не раз отмечалось исследователями, но, как правило, не получало должной оценки. Многоукладность, или разноукладность, наличие двух или более общественных форм в рамках одного общества, обычно принимается за признак его переходного состояния. Следовательно, предполагается, что на высшей стадии развития общественной формации явления многоукладности

исчезают или, по крайней мере, теряют свое значение, отступают на задний план и могут не приниматься всерьез во внимание. Так ли это на самом деле? Не допускаем ли мы в данном случае такого упрощения действительной картины докапиталистических формаций, которое мешает нам правильно понять самую ее сущность?

Раннефеодальное общество было многоукладным, это общепризнано. Наряду с остатками рабовладения и колоната позднего Рима мы находим в Европе в первые столетия после его падения родоплеменной уклад варваров, а также общинные отношения, которые, кстати сказать, по целому ряду причин нельзя рассматривать только как пережиточную форму общинно-родового строя. Во-первых, потому, что соседская община средневековья существенно отличается от первобытнородовой общины по самой своей основе (ибо она не опирается на коллективную собственность на землю), а во-вторых, потому, что марковый строй средневековой деревни в значительной мере складывается вообще не в процессе трансформации более ранних типов общины, а в результате совершенно иного развития — внутренней колонизации, превращения небольших поселений и хуторов в деревни, т. е. в результате роста производительных сил и увеличения численности населения. Картина социальной многоукладности раннесредневекового общества не будет полной, если мы не учтем немалой роли «патриархального» рабства у варваров. Между тем, в нашей литературе многоукладность раннефеодального общества нередко заслоняется изображением интенсивного взаимодействия всех перечисленных форм общественной жизни, приводящего к торжеству феодализма. Не таков ли смысл тезиса о синтезе позднеримских порядков с социальными отношениями варваров? Этот синтез (обычно не исследуемый конкретно) изображается как сближение обоих укладов и их слияние, порождающее феодализм.

Такой синтез и в самом деле имел место в ряде стран Европы, но далеко не всюду он шел успешно или быстро¹. Главное же состоит в том, что и к концу периода раннего средневековья в Европе социальная многоукладность

¹ См. дискуссию о характере романо-германского синтеза в сб. «Средние века», вып. 31, 1968 (доклад А. Д. Люблинской и прения по нему).

изжита не была. Наряду с зависимым крестьянством и феодальными землевладельцами мы почти повсеместно находим более или менее значительные остатки слоя свободных мелких собственников либо даже широкую их массу, составляющую основную часть населения страны. Соответственно и свободная община не исчезает повсеместно. Аллод нигде, даже во Франции, не вытеснен фео-дом окончательно и полностью. Очень долго сохраняется рабство в разных видах и модификациях: дворовые слуги и холопы, пленные и покупные рабы, вольноотпущенники и кабальные люди не были лишь незначительной прослойкой сельского населения. Черты многоукладности в известной мере можно обнаружить и в недрах самого феодального уклада. Зависимое крестьянство феодальной эпохи никогда не составляло класса, единого по своему имущественному положению, социально-правовому статусу, по роли в политической и общественной жизни. Оно было разбито на многочисленные разряды, характеризующиеся разными формами зависимости, различными видами эксплуатации. Многие особенности положения разных социальных разрядов средневекового крестьянства генетически восходят к раннефеодальному и даже к еще более раннему времени.

В период «классического» средневековья социальная многоукладность феодального общества не только не исчезает и не сглаживается, она еще более усиливается и приобретает новые черты. Принципиально новым было возникновение и развитие мелкотоварного уклада, связанного с ростом городов и городского населения. Признавая наличие его элементов и в обществе раннего средневековья, все же придется отметить подчиненное значение торговли и денежного обращения для становления социальной структуры раннефеодального общества. На втором этапе истории феодализма город начинает играть все более важную роль и во все большей степени влияет на социально-экономическую структуру в целом. Несомненна связь городского средневекового общественного уклада с феодальными производственными отношениями, но столь же несомненно и то, что городской уклад средневековья не может быть полностью понят как феодальный. Средневековый город имел качественно иную, нежели феодализм, основу — и производственную, и общественную.

Со своей стороны город способствовал возникновению в недрах феодального общества социальных форм, которые знаменовали новый этап в развитии самого феодализма, а затем стали перерастать его рамки. Это не обязательно означало зарождение капитализма, но под покровом феодальных юридических категорий начинали возникать отношения, по сути своей противоречившие феодальным, например аренда, наемный труд в ремесле и сельском хозяйстве. В дальнейшем некоторые из этих явлений станут симптомами раннекапиталистического развития; пока же это, скорее, формы уклада, связанного и переплетающегося с феодальным, но нефеодального по своей природе.

Вряд ли правомерно все формы социально-экономических отношений, встречающиеся в средние века, но не отвечающие нашим представлениям о феодализме, обязательно заносить либо в рубрику «пережитки дофеодального строя», либо в рубрику «зародыши капитализма». Наряду с такими несомненно переходными формами, характерными для предшествующих или для последующих обществ, в средние века имели место и постоянно сопутствовавшие феодализму общественные уклады. Но не только в этом дело: и в тех укладах средневековья, которые можно считать пережитками более ранней стадии общественного развития, следовало бы видеть не одно лишь их происхождение. Ибо, дав тому или иному социальному явлению средневековья определение пережиточного, мы ведь ровным счетом ничего еще не объяснили. Самое существенное заключается в другом: каковы значение и место этих форм в рамках феодализма? Какую функцию они выполняют в системе средневекового общества? Совершенно ясно, что такие «пережиточные» формы, как свободное крестьянство или рабство, получали в феодальной социальной структуре новую окраску, меняли свой облик, включались в эту структуру и играли в ней определенную роль. Но вместе с тем они накладывали на систему феодального строя свой отпечаток и существенно его модифицировали.

Итак, наша мысль состоит в том, что средневековое общество от начала до конца, на любой стадии характеризуется (подобно обществам древности) глубокой многоукладностью и пестротой социальных и хозяйственных форм и что эта перманентная его многоукладность — при

постоянной смене укладов и их соотношения и взаимодействия на протяжении всего средневековья — является неотъемлемой и существенно важной его чертой. Более того, мы склонны полагать, что развитие феодального общества выражалось прежде всего в изменении соотношения различных укладов. Для разных феодальных обществ даже на ограниченной территории только одной Европы было характерно различное сочетание социальных укладов. Отсюда исключительная пестрота форм общественной жизни, с которой сталкивается историк, переходящий от изучения Германии или Франции к изучению Италии или Скандинавии и т. п. и даже рассматривающий одну страну, сравнивая социальную структуру разных ее областей: Прованса и Иль де-Франса, Саксонии и Баварии, Новгородской земли и Киевского государства. Социальная многоукладность средневековья — один из источников многотипности феодального развития.

Богатство общественно-экономических форм средневекового мира дополняется гетерогенностью политического строя, не уступающей, пожалуй, многоликости государственных форм древности. Хотя монархия была наиболее распространенной и естественной в условиях земледельческого, крестьянского общества формой государства, наряду с ней мы наблюдаем и город-республику, или тиранию, и теократическое государство; пережиточные институты «военной демократии» («крестьянские республики» в Дитмаршене, Швейцарии и в Скандинавии) соседствуют с империей, претендующей на всемирное господство; сама феодальная монархия обнаруживает весьма различные формы: от непрочного союза вассальных герцогств и сеньорий, ведущих фактически самостоятельное существование, и шляхетской вольницы до централизованных норманских королевств в Англии, Южной Италии и Сицилии и абсолютных монархий конца средневековья.

Мысль о многоукладности средневекового общества как имманентно присущей ему черте может встретить возражение: многоукладность действительно имела место, но не следует преувеличивать ее значения и забывать за многоликостью форм общественной и политической жизни общую всему средневековому миру его феодальную природу. Верно, не нужно ее забывать, и, называя это общество феодальным, мы тем самым исходим из предположения о ведущей роли феодального уклада. Но столь

же ошибочно при констатации феодальной природы средневекового мира забывать об указанной многоукладности и недооценивать ее значения для существования и развития этого мира, затушевывая ту многоликую и не поддающуюся однотонной стилизации социальную среду, в которой выкристаллизовывались и над которой на определенном этапе доминировали феодальные структуры. Ибо многоукладность — не второстепенная черта феодального мира, а характерный и в высшей степени важный признак всякого докапиталистического классового общества.

Многотипность социально-экономического развития и многоукладность общественных отношений, характерные для древности и средневековья, связаны с неравномерностью исторического процесса в эти эпохи. Народы мира шли разными путями, и темпы их движения были очень различны. Одни общества развивались относительно быстро, структура иных характеризовалась большей консервативностью и даже застойностью. Неравномерность хода истории принадлежит к важнейшим движущим силам исторического развития. Эта неравномерность приводит к тому, что классовые общества возникают первоначально в отдельных частях мира, где сложились наиболее благоприятные для их генезиса условия. Затем эти социальные формы «кругами расходились» на более широкие пространства, охватывая народы, отстававшие в своем развитии. В тех случаях, когда уже существовала достаточно подготовленная почва для распространения классовых отношений у этих народов, они вступали на новую стадию развития; когда такой почвы не было, органический переход не совершался, но тем не менее могло произойти усложнение их социальной структуры, ускорялось ее разложение либо возникал новый общественный уклад. Всякого рода влияния, завоевания, заимствования одним народом общественных форм, сложившихся у другого народа, опасно не только преувеличивать, но и недооценивать. Нередко именно подобные внешние воздействия оказывались решающими для судеб целых групп народов. Достаточно вспомнить о значении римского завоевания в социальной трансформации многих народов, у которых отсутствовал классовый строй.

Справедливо ли объяснять феодальное развитие любого народа одними внутренними причинами? Эта точка

зрения прямо никем не формулируется, но фактически она лежит в основе всей интерпретации исторического материала¹. Конечно, у самых различных народов, объединенных в Франкскую империю или живших по соседству с нею, имелись в той или иной мере собственные предпосылки для генезиса классового общества, но можно ли отрицать ту роль, которую сыграло франкское завоевание и влияние франкских социально-правовых институтов в процессе перехода этих народов на новую стадию развития? Определенные формы феодальных отношений, вне сомнения, были распространены из некоторых центров на окружавшую их периферию. Прекарий и иммунитет не были «изобретены» в Германии, то были предметы франкского «импорта», нашедшие «спрос» в медленно перестраивавшемся германском обществе, развитие которого в результате франкского влияния ускорилось и изменило свои формы. Сеньориальная иерархия и ленная система не утвердились в Англии до Нормандского завоевания, хотя какие-то эмбриональные формы и той и другой могут быть обнаружены в англосаксонском обществе еще и в первой половине XI в. Оформление феодальных отношений в скандинавских странах произошло под сильнейшим воздействием феодальной Европы и католической церкви.

Разумеется, нужно говорить не об одностороннем влиянии, а о взаимодействии, — все эти процессы были чрезвычайно сложны. Любопытно, в частности, что норманны, на родине которых переход от доклассового общества к феодализму шел очень медленно, быстро воспринимали франкские феодальные институты, действовавшие в завоеванных ими странах, развивали их дальше и передавали другим народам. Но в результате влияния более развитых государств в отстававших странах складывались аналогичные порядки. Опять-таки происходила известная унификация феодальных учреждений, распространялись римское право, латинский язык, воплощавший определенный комплекс понятий и представлений; важ-

¹ См., например, очерки генезиса феодализма у различных германских народов, у западных и южных славян, в Византии и в романских странах в «Истории средних веков» (М., 1964): повсеместно пружинами этого развития неизменно выступают сдвиги в производстве и собственности, внешние же факторы лишь завершают имманентно идущие процессы.

нейшую роль в этом процессе создания европейской феодальной общности выполняла церковь.

Таким образом, становление и развитие феодализма не происходило изолированно в разных странах, и на при-сущую каждому из средневековых обществ многоуклад-ную социальную структуру — в ее неповторимом местном варианте и даже во многих местных вариантах (в рамках областей) — накладывалась общая феодальная форма, до известной степени затушевывавшая гетерогенность этой структуры, но ни в коей мере не снимавшая, не упразднявшая ее.

Что же означала эта многоукладность и многоликость социальных форм? По-видимому, она была признаком общества, классовая структура которого не достигла и не могла достигнуть такой степени зрелости и завершенности, как это имело место в обществе капиталистическом. Ни рабство, в любой его форме, ни феодальная зави-симость — опять-таки в бесконечных ее модификациях, как синхронных, так и стадиальных, — не являлись та-кими системами производственных отношений, которые были бы способны подчинить себе всю массу непосред-ственных производителей и повсеместно коренным обра-зом преобразовать и унифицировать отношения собствен-ности и производства.

В самом деле, все докапиталистические классовые общества строятся на мелком производстве. Поэтому в них не совершается полностью и целиком отрыв непосредственного производителя от средств производства, соединение его со средствами производства сохраняется, а при определенных условиях и усиливается, и ведение хозяйства остается в руках самого производителя. Таким образом, существуют условия для преобладания или, по крайней мере, частичного сохранения мелкой собственности. В докапиталистических формациях невозможно революционизирование процесса производства господ-ствующим классом, имеющее место при капитализме. Ни система рабства, даже в периоды своего наивысшего развития, ни система феодального принуждения не могут привести к столь радикальной перестройке всей совокупности общественных отношений, какая произошла в капи-талистическом обществе. Эти системы проникают в их толщу, но не перестраивают их сверху донизу. Поэтому в обществах с рабовладельческими и феодальными отно-

шениями существует общинный уклад, остаются до конца не изжитыми родовые и патриархальные связи, длительно сохраняются институты племенного строя. Переплетение всех этих традиционных и архаических укладов со вновь складывающимися отношениями эксплуатации, основанной на той или иной форме внеэкономического принуждения (рабство, илотство, колонат, крепостничество, другие виды личной зависимости и неполноправности), и с определенными элементами товарного производства, достигающего в отдельных случаях весьма значительного развития, и давало в итоге социальную многоукладность любого общества, которое вышло из стадии первобытного строя.

Соотношение различных укладов и взаимодействие их могут широчайшим образом модифицироваться. Их можно тем не менее как-то классифицировать и выделить основные группы структур, характеризовавшиеся определенными формами общины, разными видами отношений собственности, преобладающим типом эксплуатации, остротой классовых антагонизмов.

Критериев разграничения и классификации различных типов социальных структур можно предложить несколько. Но мы хотели бы остановиться на следующих двух основных типах общественных отношений: типе личностных отношений, при котором отношения между людьми — материальные, производственные, социальные — осуществляются в непосредственной форме, и типе вещных отношений, когда общественные отношения людей опосредуются отношениями вещей-товаров. Последний тип господствует в капиталистическом обществе; в предшествующих обществах он существует, но, как правило, не определяет структуры социальных связей, переплетаясь с системой отношений личностных и даже оттесняясь ею на второй план. Необходимо отметить, что эти два типа общественных отношений — личностные и вещные — равноправны в том смысле, что один из них не является производным от другого или подчиненным ему; важно подчеркнуть это потому, что нередко полагают, будто личностные отношения — разновидность вещных, и личные формы связи якобы лишь «маскируют» экономические отношения. Между тем Маркс неоднократно указывал на то, что законченную форму вещные отношения приобретают только в буржуазном обществе. «В ме-

новой стоимости общественное отношение лиц превращено в общественное отношение вещей, личная мощь — в некую вещную мощь. Чем меньшей общественной силой обладает средство обмена, чем теснее оно еще связано с природой непосредственного продукта труда и с непосредственными потребностями обменивающихся, тем больше еще должна быть сила той общности, которая связывает индивидов друг с другом — патриархальное отношение, античное общество, феодализм и цеховой строй... Каждый индивид обладает общественной мощью в форме вещи. Отнимите эту общественную мощь у вещи — вам придется дать ее одним лицам как власть над другими лицами»¹. Отсюда следует, что межличностные отношения много древнее вещных и никак не могут быть к ним сведены. Скорее наоборот, в вещных, материально-экономических связях можно распознать фетишизированную форму все тех же личностных отношений; ведь известно, что отношения собственности, по Марксу, не что иное, как отношения между людьми, общественные отношения.

В обществе с развитыми вещными отношениями, где имеет место глубокое и всестороннее общественное разделение труда, развиты ремесло, торговля, могут получить развитие и отношения частной собственности, и имущественно-классовая поляризация, и социальные антагонизмы; в нем придется предположить динамический тип социальной структуры, подверженной относительно быстрым изменениям, внутренним сдвигам и катаклизмам. Напротив, неразвитость вещных отношений, преобладание непосредственных межличностных социальных связей в обществе неизбежно сопровождаются патриархальностью, традиционностью всех отношений и доминированием общинного, корпоративного момента над частнособственническим. Вряд ли в каком-либо докапиталистическом обществе (исключая бесклассовую стадию) можно предположить господство в чистом виде системы непосредственных межличностных отношений. В той или иной мере они всегда связаны с отношениями вещными. Одной из существеннейших сторон многоукладности всех докапиталистических социальных структур и является опре-

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 46, ч. I, стр. 100.

деленная форма переплетения указанных двух типов социальных связей: личностных и вещных.

Своеобразие феодальных социальных структур также выражается в сложном сочетании обоих типов общественных связей. Они обнаруживаются в ленных (фьефных) отношениях: земельное пожалование создает материальную основу для отношения вассала и сеньора, но это отношение никогда не сводится к экономической форме; его сущность не в меньшей мере заключается в отношениях личной верности и службы. Двойственна, хотя и по-иному, зависимость крестьянина от феодала: она выражается, с одной стороны, в наделении крестьянина землей и в ренте, лежащей на земле, с другой же стороны, в личной подвластности крестьянина сеньору, в политической и судебной власти последнего, во внеэкономическом принуждении, которое применяет к крестьянину феодал, реализуя свою земельную собственность. Сущность феодальной собственности на землю — это власть феодала над людьми, ее населяющими; под вещной, экономической формой скрывалось личное отношение¹. Средневековое государство в свою очередь являет переплетение вещного и личного начал: власть государя есть прежде всего власть сюзерена, верховного сеньора, связанного узами личного господства и покровительства со своими вассалами и подопечными; вместе с тем в его руках постепенно концентрируются права сбора налогов, чеканки монеты, военная, судебная и законодательная власть, иные формы политического верховенства.

Сочетание личного и вещного типов общественных связей в рамках феодальной системы бесконечно варьирует как в плане синхронии (в разных странах и областях, для разных категорий населения это сочетание различно), так и в плане диахронии (соотношение личного и вещного принципов изменяется с развитием общества). В общей форме можно наметить направление, в котором происходило изменение в соотношении этих начал. По мере развития товарного уклада вещные отношения начинают оказывать все возрастающее воздействие на традиционные, основанные на личном мо-

¹ См. ниже, гл. I, § 1.

менте социальные связи. Крестьянское держание приближается к договорной аренде, внеэкономическая сторона зависимости крестьянина оттесняется чисто рентным отношением. Связь между сеньором и вассалом также все более наполняется экономическим содержанием: фьеф начинает сводиться к ренте-плате за службу; личная служба коммутируется; рыцарство заменяется наемничеством; сеньориальные права становятся объектами купли-продажи, отчуждаются. Тем не менее на любой стадии развития феодального общества наблюдается как многоукладность его, так и сочетание и переплетение обоих типов социальных связей. Без этого сочетания нет феодализма.

Феодальная система, возникшая как отрицание античного социального строя с его развитым товарным производством и превращением непосредственного производителя в вещь, в свою очередь отрицается капитализмом — наивысшей формой вещных, экономических отношений. Но сама феодальная формация в высшей степени специфична. Поэтому познание средневекового общества не может быть аналогичным изучению общества, построенного на законченной системе товарного производства. Необходимо найти способы исследования исторической реальности феодальной системы исходя из отмеченных выше ее специфических отличий.

Одной лишь социально-экономической характеристики средневекового общества оказывается недостаточно для проникновения в его тайну. Требуется построение полной типологии общественных связей, принимавших экономические, политические, идеологические и иные формы. При этом следует обнаружить взаимообусловленность и взаимодействие различных форм социальных связей: совокупная их система и образует конкретно-исторический структурный тип общества. Таким образом историк сможет построить целостную функциональную социально-культурную «модель».

Оставаясь в рамках средневековья, мы обнаружили бы целый ряд таких «моделей». Подобная «модель» не может подменить собой «модель» общественной формации: она должна занять свое место в иерархии теоретических «моделей», которыми оперируют историки, как определенный подтип в рамках более широкого формационного типа.

Если к изучению генезиса феодализма в Западной Европе подойти в свете проблемы многоукладности средневекового общества, то мы сможем увидеть в раннефеодальной социальной структуре мощный «дофеодальный» (варварский) субстрат, на котором эта структура в значительной мере, собственно, и возникла. Трансформация варварского общества, шедшая в Европе под влиянием позднеримских порядков, и дает феодализм. Но раннефеодальный строй не отрицает, не изживает варварства полностью, они как бы сосуществуют, переплетаясь и взаимодействуя.

Возникновение феодальных отношений в странах, являвшихся в древности главными очагами рабовладельческой системы, происходило, на наш взгляд, менее органично. К сожалению, очень слабо исследован вопрос о том, в какой мере генезис феодализма в Италии, Испании, Южной Галлии был возможен без внешнего воздействия; под последним мы имеем в виду не столько первоначальные завоевания этих римских провинций варварскими племенами (ибо, как известно, ни готы, ни бургунды не смогли радикально изменить здесь общественные порядки), сколько последующее подчинение их франкскому господству и нашествия завоевателей, приходивших из более продвинутых в феодальном отношении частей Европы.

Поскольку в дальнейшем нас будет интересовать возникновение феодальной системы как процесс отрицания общественной системы варваров, то эта социологическая проблема лучше всего может быть рассмотрена на материале истории народов средней и северной частей Западной Европы. Такое ограничение не может не сделать ограниченными и выводы, к которым мы придем. Мы отчетливо сознаем, что предлагаемые в книге понимание аллода и сходных с ним форм землевладения, концепция богатства, трактовка процесса феодализации не могут быть в равной мере применены ко всем типам раннефеодальных обществ в Европе, — эту оговорку читатель должен постоянно иметь в виду.

ГЛАВА I

ПРОБЛЕМА СОБСТВЕННОСТИ В РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

§ 1. АЛЛОД И ФЕОД

Среди «вечных» категорий исторической науки особое место занимает собственность. Познавательное значение этой категории огромно. Не поставив проблемы собственности, историк не в состоянии ничего понять в изучаемом им обществе. Отношения собственности выражают сущность производственных отношений, поэтому-то вопрос о характере собственности, господствующей в обществе, встает перед историком одним из первых. Но всегда ли мы пользуемся понятием собственности с должной осмотрительностью? Какое исторически конкретное содержание в него вкладывается? Отвечает ли содержание этого понятия реальности изучаемой эпохи?

Понятие собственности может быть расчленено на две основные категории: частная собственность и коллективная собственность. В рамках каждой из них возможны дальнейшие подразделения. Первый тип предполагает различие между полной и неполной частной собственностью (а также личной собственностью). Второй тип дифференцируется сообразно субъекту коллективной собственности: родовая, племенная, общинная и т. п. Но самое содержание понятия «собственность» обычно не внушает сомнений, оно представляется достаточно ясным и само собою разумеющимся. В юридическом смысле под собственностью понимают право владения некоторым объектом, распоряжения им, свободного отчуждения, в соответствии с известной римской формулой «*jus utendi et*

abutendi». Иначе говоря, собственность выступает в виде категории вещного права, которая в определенных обществах распространяется не только на вещи, но также и на людей, трактуемых как вещи.

Применимость такого понимания собственности к буржуазному обществу не внушает сомнений. Однако широко распространено убеждение в том, что любое антагонистическое классовое общество основывается на частной собственности на средства производства. При этом уточняется, что рабовладельческое общество характеризуется также и частной собственностью на рабов, а феодальное общество — «неполной» частной собственностью на крепостных. В любом случае самое понятие «собственность» трактуется, по существу, однозначно. Правда, затем начинаются некоторые трудности. Например, приходится отмечать особый характер римской частной собственности на землю («квиритская» собственность). Что касается феодальной собственности на землю, то часто высказывается мысль о «расщепленной» собственности, предполагающей, с одной стороны, право пользования (*dominium utile*), с другой — верховную собственность (*dominium directum*). Право пользования принадлежит держателю, вассалу, верховная собственность — сеньору. Кроме того, встает вопрос о монополии господствующего класса на землю при феодализме, о сословном характере собственности, об условности прав феодала на землю, сопряженной с его обязательством выполнять требования ленного договора. Тем не менее, несмотря на все эти оговорки и уточнения, феодальная собственность продолжает мыслиться как разновидность частной собственности.

Если понимать частную собственность как средство эксплуатации непосредственных производителей, как условие присвоения их прибавочного труда обладателями средств производства, то это понятие безусловно применимо ко всякому антагонистическому классовому обществу. Но ведь в понятие собственности входит не только это — самое общее — содержание; собственность понимается как экономическое богатство и как источник богатства, и именно под таким углом зрения рассматривается историками земельная собственность (как и всякая другая разновидность собственности) в древности и в средние века, вообще в докапиталистических формациях.

В какой мере справедливо подобное понимание соб-

ственности применительно к раннесредневековому обществу Европы? (В конце средних веков, при разложении феодализма собственность, естественно, все более приобретает буржуазное содержание.)

При изучении вопроса о собственности в средние века, на наш взгляд, очень важно было бы учитывать, что целью производства как в сельском хозяйстве, так и в ремесле было прежде всего самообеспечение непосредственного производителя, воспроизводство его самого как члена общины, корпорации, а равно и обеспечение его феодального сеньора. Получение прибыли, стяжание, накопление богатств были чужды большей части членов этого общества; исключения составляли церковь, ростовщическо-купеческая прослойка городского населения и часть дворянства, однако преимущественно уже в эпоху «зрелого» и позднего средневековья, а не на заре его. В период же раннего средневековья господствующему классу богатство нужно было в первую очередь как средство потребления, удовлетворения личных и сословных потребностей, а не как источник накопления и обогащения.

Но начнем по порядку. В доклассовом обществе человек, возделывавший землю и пользовавшийся плодами ее, представлял собою органическую часть своего природного окружения; земля, по выражению Маркса, была такой же естественной предпосылкой его деятельности, как и части его тела или органы чувств, она была как бы его «удлиненным телом»¹. Право собственности возникает лишь тогда, когда субъект права противопоставляет себя объекту права. В данном же случае человек не относился к земле как к чему-то внешнему и постороннему ему самому. Земля была условием его существования, но о каких-либо исключительных правах на определенные пространства земли еще не могло быть и речи, во всяком случае, до тех пор, пока не приходили в столкновение два коллектива (племени, поселения), претендовавшие на одну и ту же землю. Тем более не могло возникнуть представления о возможности распоряжения землей и отчуждения ее. Пользование землей индивидом было обусловлено принадлежностью его к коллективу. Полного обо-

¹ См.: *К. Маркс. Формы, предшествующие капиталистическому производству*. М., 1940, стр. 17, 24, 29.

соблюдения прав отдельных лиц или семей на участки произойти в этих условиях не могло.

В этом смысле, казалось бы, есть основания говорить о коллективной собственности на землю у варваров, расселившихся в Европе, о том, что общине принадлежала «верховная собственность» на используемые ее членами пашни и угодья. Однако применительно к эпохе раннего средневековья этими понятиями необходимо пользоваться крайне осторожно. В самом деле, мы судим об общине варваров преимущественно ретроспективно, на основании данных, относящихся к эпохе развитого и позднего средневековья (сообщения древних авторов на этот счет крайне туманны и малодостоверны и вызывают самые противоречивые толкования в литературе, данные археологии почти неприменимы для решения вопросов, касающихся собственности, а записи обычного права и другие письменные источники раннего средневековья содержат лишь отрывочные сведения, по которым очень трудно реконструировать облик общины). Зато хорошо известно, что в результате «великих расчисток» XI—XII вв. произошла массовая внутренняя колонизация, сопровождавшаяся созданием больших деревень со строгими аграрными распорядками. В возникших таким путем сельских общинах не могло не соблюдаться четкое разграничение прав отдельных крестьян на землю, прав сеньоров и крестьян, находившихся под их властью, как и разграничение прав различных феодальных сеньоров между собой. Имеются ли, однако, достаточные основания для того, чтобы такие распорядки более позднего времени относить к эпохе варварства и раннего средневековья, когда община представляла собой гораздо более аморфный коллектив? Нужно иметь в виду преимущественно лесной пейзаж тогдашней Средней и Северной Европы. Сплошь и рядом люди селились не большими компактными массами, а маленькими группами из нескольких семей либо отдельными семьями поодаль друг от друга. Разобщенные подчас большими расстояниями, отдельные хозяева возделывали обособленные участки¹. Они были связаны

¹ См.: *F. Steinbach. Gewanndorf und Einzelhof. «Festschrift für Al. Schulte», 1927, S. 49, ff.; W. Abel. Geschichte der deutschen Landwirtschaft vom frühen Mittelalter bis zum 19. Jahrhundert. Stuttgart, 1962, S. 14—15; Die Anfänge der Landgemeinde und ihr Wesen. I—II. Konstanz-Stuttgart, 1964.*

между собой пользованием неподеленными угодьями, необходимостью защиты земель от посягательств посторонних лиц, потребностью в совместном поддержании порядка, соблюдении обычаев, отправлении культа. Наиболее примитивные общины объединяло также родство, общность происхождения. Но в производственном отношении древнегерманская община не представляла собой коллектива. Сравнивая ее с восточной и римской общиной, Маркс считал нужным подчеркнуть ту особенность, что она существовала «лишь в форме сходов членов общины»¹.

В тех случаях, когда несколько хозяев пользовались участками, расположенными бок о бок, неизбежно складывались распорядки, которым все должны были подчиняться, но эти распорядки не создавали какого-либо особого права коллективной собственности, столь же чуждого сознанию варваров, как и право частной собственности на землю.

Таким образом, собственность здесь означала лишь «отношение трудящегося (производящего) субъекта (или воспроизводящего себя субъекта) к условиям его производства или воспроизводства, как к своим», и эти условия производства были не результатом труда земледельца, а его предпосылкой. Собственность в указанном смысле сводилась к присвоению условий субъективной деятельности производящего индивида и осуществлялась «только через само производство»². Понятие «общее владение» (*Allmende, almenningr*) могло полностью развиваться, по-видимому, лишь тогда, когда стали индивидуализироваться права отдельных владельцев на принадлежавшие им участки земли, поскольку вместе с этим возникла потребность в разграничении общего и частного.

Проблемы земельной собственности имеют огромное значение при исследовании процесса зарождения и развития феодализма. Согласно широко распространенному в нашей историографии мнению, рост имущественного неравенства и сопровождавшее его развитие частной собственности, приобретение общинниками права частной собственности на их наделы послужили главнейшей причи-

¹ См.: К. Маркс. *Формы, предшествующие капиталистическому производству*, стр. 14, 16.

² Там же, стр. 27, 29.

ной превращения этих общинников из свободных и самостоятельных хозяев в феодально зависимых крестьян — держателей земли от крупных землевладельцев. В центре исследования социальной истории этого периода оказывается вопрос об аллоде. Если на раннем этапе своего существования аллод представлял собой нераздельное и неотчуждаемое владение большой семьи, то затем, по мере ее распада, аллод превращается в индивидуальное владение и мыслится как неограниченная частная собственность, как свободно отчуждаемый «товар». С возникновением аллода-товара и связан процесс становления крупного землевладения, ибо, согласно упомянутой точке зрения, именно отчуждение аллодов, утрата их мелкими собственниками и переход земель в руки собственников крупных и привели к торжеству феодального строя землевладения. Таким образом, вторжение стихии товарных отношений в сферу земельной собственности (наряду с насилием и другими факторами) породило аграрный переворот во Франкском государстве: как и во всяком обществе, строящемся на частной собственности и господстве товарных ценностей, и здесь мелкое землевладение было вытеснено крупным¹.

Такова в самых общих чертах схема, лежащая в основе представлений о процессе становления феодализма. Необходимо отметить, что не все историки безоговорочно разделяют эту схему. А. И. Неусыхин, считая «основной причиной превращения свободных аллодистов в держателей вотчинных наделов» лишение их собственности на их наделы, вместе с тем предполагает, что крестьяне могли терять аллоды полностью или частично и что аллодисты «в ходе этого процесса лишаются земли *как собственности*, но не как необходимого условия хозяйствования», нередко сохраняя в своем владении бывший аллод. Таким образом, происходит «неполное отделение» крестьянина от земли, утрата им собственности на нее с одновременным его прикреплением к ней в качестве держателя². Эти уточнения чрезвычайно важны, поскольку

¹ См.: «История средних веков». М., 1964, стр. 60—61; «История средних веков», т. 1. М., 1966, стр. 114—115.

² А. И. Неусыхин. Судьбы свободного крестьянства в Германии в VIII—XII вв. М., 1964, стр. 19, 20, 22, а также примеч. 14 на стр. 22—23.

свидетельствуют о специфичности процессов, ведущих к генезису феодального землевладения. Тем не менее, и А. И. Неусыхин считает необходимым подчеркивать свободу распоряжения аллодами и утерю их общинниками как предпосылку феодального развития.

Мы полагаем, что эта точка зрения нуждается в проверке. В какой мере она находит подтверждение в исследовании источников? Не переносит ли она в период раннего средневековья картину развития крупного землевладения за счет поглощения мелкого крестьянского хозяйства, которое происходило в новое время? Краеугольным камнем всей этой схемы служит идея о том, что переход к феодализму ознаменовался развитием частной собственности на землю.

Оправдана ли подобная точка зрения?

В Римской империи вплоть до времени ее завоевания варварами существовала частная земельная собственность. Германцы, расселяясь среди покоренного населения бывших римских провинций, захватывая часть принадлежащих ему земель, перенимали соответствующие производственные и юридические порядки, знакомись с институтом частной собственности. Однако и те исследователи, которые считают аллод товаром, не находят полной аналогии между аллодом и поздне римскими отношениями собственности. Аллод — не римская *possessio* или *proprietas*, это особый институт, специфика которого столь значительна, что вряд ли его вообще можно представлять себе в виде товара или частной собственности. Крупный специалист по ранней истории германской земельной собственности А. Гальбан-Блюменшток, определяя значение аллода в жизни франка, писал: «Земля кормит человека, но не обогащает его». Он обнаружил, что индивидуализация владельческих прав на землю у франков ограничивалась непосредственными практическими потребностями, сама же по себе земля не имела никакой цены и первоначально отчуждение ее было невозможно¹. Как мы видели, А. И. Неусыхин, присоединяясь к тезису о превращении аллода в товар, подчеркивает глубокую специфичность аллода по сравнению со свободно отчуждаемой частной собственностью.

¹ А. Halban-Blumenstok. Entstehung des deutschen Immobiliareigenthums. Bd. I. Innsbruck, 1894, S. 360—363.

В период раннего средневековья не существовало, да и не могло существовать земельного рынка, как и свободной купли-продажи недвижимой собственности. Это не означает, что землю вообще невозможно было отчуждать. Картулярии и другие источники свидетельствуют о том, что переход земельных владений из рук в руки был широко распространен, но он совершался при соблюдении целого ряда условий, знакомство с которыми, как нам кажется, делает сомнительным представление о франкском аллоде как товаре.

По мнению А. И. Неусыхина, наиболее полно разработавшего вопрос об аллоде и его эволюции, в недрах так называемой земледельческой общины пахотный надел был владением патриархальной большой семьи, состоявшей из трех поколений, за пределы которой он не отчуждался. Верховная собственность на пахотную землю принадлежала общине, не вмешивавшейся, однако, в распределение участков между хозяевами. Таким образом, им принадлежало пользование при отсутствии права собственности на землю. В большой семье устанавливается порядок наследования земли, закрепляющий права на нее за определенными членами семьи. Первоначально этот порядок был очень ограничен: права наследования могут осуществляться лишь в пределах большой семьи. Затем, с распадом больших семей у франков, наделы переходят в индивидуально-семейное владение. Но «Салическая Правда», содержащая первое по времени упоминание аллода, еще отражает старый порядок владения и наследования, исключавший свободное распоряжение участком. В частности, землю не могут получать женщины, и отсутствие в семье мужчин-сыновей или братьев умершего хозяина приводило к возвращению надела в распоряжение общины — верховной собственницы всех земель деревни. Переход аллода — объекта пользования большой семьи в наследственное достояние малой семьи ведет к превращению надела в отчуждаемую собственность. Возникновение частной земельной собственности означает завершение трансформации земледельческой общины в соседскую общину-марку, в которой коллективная собственность на угодья сочетается со свободной индивидуальной собственностью на пахотные земли.

Таким образом, А. И. Неусыхин склонен выделять в истории земельной собственности у франков два основ-

ных этапа и, соответственно, разграничивать «неполный» аллод» — наследственное неотчуждаемое владение семьи (*terra salica, hereditas aviatica*) и «полный аллод», разумея под последним частную собственность на землю. В связи с этим разграничением А. И. Неусыхин отмечает также и градуированность прав владения на разные виды недвижимости в общине¹. Он показывает длительность перехода от ранней формы аллода к поздней и сохранение даже при «полном аллоде» пережитков предшествующей стадии. Тем не менее, и по мнению А. И. Неусыхина, аллод в конце концов все-таки становится «товаром», объектом свободного отчуждения.

Нужно отметить, что ранняя форма аллода нашла лишь очень скудное отражение в исторических памятниках. Мы полагаем поэтому, что для понимания характера аллода следовало бы сопоставить его с родственными ему земельными институтами. Нами изучены два таких института: англосаксонский фольклэнд и норвежский одаль.

О фольклэнде также известно немного, но и это немного дает основание считать его неотчуждаемым владением семьи, в отличие от бокленда (бокленд — земля, которой владели на основании жалованной грамоты), на который его обладатель, по крайней мере формально, имел право собственности (в результате пожалования этого права королем)². Конечно, далеко не случайно историки, изучающие историю Англии до 1066 г., не располагают документами, которые оформляли бы отчуждение фольклэнда: соглашения подобного рода не заключались. П. Г. Виноградов убедительно доказал, что фольклэнд —

¹ См.: А. И. Неусыхин. Возникновение зависимого крестьянства как класса раннефеодального общества в Западной Европе VI—VIII вв. М., 1956, стр. 10—14, 17—20, 31, 105, 110—117.

² Согласно формулярам грамот, по которым земли жаловались в бокленд, их владельцы приобретали право неограниченной частной собственности. Но это право в известном смысле было фикцией, порожденной заимствованием фразеологии римского права. На самом деле, владелец бокленда не мог неограниченно им распоряжаться: если король даровал бокленд церковному учреждению, то оно владело им по праву «мертвой руки»; дружинник же короля (гезит, тэн), пожалованный боклендом, был обязан исполнять военную и иную службу в пользу короля, и нарушение им присяги верности влекло за собою лишение его права на бокленд. Таким образом, бокленд — вовсе не частная собственность; это — раннефеодальный институт.

земля, которой владели по «народному праву», не представлял собою объекта купли-продажи¹. Судя по записям обычного права VII в., эти земельные владения первоначально находились в обладании больших семей, и в источниках еще можно обнаружить пережитки прав домово́й общины на землю. Однако и после распада больших семей фольклэнд не стал свободно отчуждаемой собственностью. Несмотря на выделение индивидуальной семьи из домово́й общины, сородичи, ранее составлявшие этот коллектив, по-видимому, сохраняли известные права на землю.

Хотя фольклэнд не превратился в частную собственность, в Англии шел тем не менее процесс феодального подчинения мелких земледельцев. Подчинение англосаксонских крестьян власти феодалов обычно происходило без уступки ими прав на свои наделы в пользу господ; крестьяне оказывались под властью церкви и тэнов вместе со своими землями, независимо от того, насколько их права на эти наделы приблизились к аллодиальным.

Что же касается норвежского одаля², то будучи, подобно аллоду и фольклэнду, наследственным земельным владением, он на протяжении всего средневековья не превращался в свободно отчуждаемую собственность. Как раз на примере одаля особенно хорошо видна тесная, неразрывная связь земельного владения с обладавшей им семьей.

На наиболее ранней стадии, которую удастся разглядеть в источниках, одадь представлял собой собственность патриархальной семейной общины, состоявшей из трех поколений родственников. Эти сородичи вели общее хозяйство. Никакой свободы распоряжения землей, разумеется, не было. Право одаля заключалось в полноте

¹ P. Vinogradoff. Folkland. E. H. R., vol. III, 1893; *его же*. Исследования по социальной истории Англии в средние века. СПб., 1887, стр. 244—251.

² По некоторым толкованиям, термины «ódal» (od-al) и «allo-dium» (al-od) родственны и имеют общий корень. Однако такая этимология не общепризнанна. Видимо, близок к термину «odal» термин «ethel» (edel), связывающий понятия старины и благородства. В любом случае мы склонны видеть в одале не исключительно скандинавское явление, а скорее разновидность общегерманского института, сохранявшегося на Севере дольше, чем у других германских народов, поземельные отношения которых испытали на себе более сильное воздействие римского права.

наследственного обладания землей в составе коллектива родственников и строилось на сознании нерасторжимой связи земли с владевшей ею семьей. Долгое время отчуждение одаля могло носить характер лишь заклада или временной передачи земли в чужие руки, но не окончательного перехода всех связанных с землей прав к новому ее собственнику. При продаже одаля владелец был обязан предложить его прежде всего своим сородичам и имел право отдать его на сторону лишь после того, как они откажутся взять эту землю. Но и впоследствии сородичи прежнего владельца в течение длительного срока сохраняли право выкупа отчужденного владения.

Переход от коллективного землевладения больших семей к индивидуально-семейному владению происходил в Норвегии лишь постепенно. Сначала, при сохранении владения большой семьи, производились временные разделы земли между индивидуальными семьями, входившими в эту семью. Окончательные разделы семейных общин стали частыми с VIII—IX вв. Но одаль тем не менее не превращался в свободно отчуждаемое владение, и все существовавшие прежде ограничения сохранялись и впредь. Признаком одаля по-прежнему оставалась тесная, наследственная связь земли с семьей. Право одаля, т. е. право неотъемлемого, полного обладания землей, могло быть распространено и на приобретенную землю; но право одаля признавалось за таким владением не сразу, а лишь после того, как на протяжении нескольких поколений (от трех до пяти) земля находилась в непрерывном обладании семьи. В XIII в. эти условия были несколько смягчены, но тем не менее нужно было обладать землей не менее 60 лет для того, чтобы приобрести на нее право одаля¹.

Сопоставление одаля с «ранним», или «неполным», аллодом, возможно, позволило бы лучше понять некоторые черты этого франкского института. Обычно полагают, что запрещение передавать аллодиальное владение по наследству женщинам (*Lex Salica*, 59) свидетельствовало о неполноте превращения его в частную собствен-

¹ Подробнее см.: *А. Я. Гуревич. Англосаксонский фольклор и древнорвежский одаль (опыт сравнительной характеристики дофеодалных форм землевладения). В сб.: «Средние века», вып. 30, М., 1967.*

ность малой семьи, тогда как разрешение дочери унаследовать землю при отсутствии в живых брата («Эдикт Хильперика») якобы завершало подобное превращение. Однако это рассуждение далеко не безупречно. Ведь и норвежское право в конце концов допустило женщин к наследованию одаля, что вовсе не приводило еще к его трансформации в свободно отчуждаемую частную собственность. Во-первых, лишь женщины, находившиеся в тесном родстве с прежним владельцем одаля, пользовались правами наследования земли, причем родственники мужского пола сохраняли право выкупить у таких женщин их одаль. Точно так же и «Эдикт Хильперика», позволивший женщине наследовать землю, не предоставлял ей равных с мужчинами прав: дочь могла получить отцовскую усадьбу лишь в тех случаях, когда не было в живых ее братьев. Таким образом, эдикт устанавливал не равенство прав на землю дочерей и сыновей, а преимущественные права на наследственные владения прямых потомков перед более дальними родственниками и соседями.

Во-вторых, все ограничения, которые обычное право налагало на отчуждение одаля, оставались в силе и тогда, когда право одаля было предоставлено некоторым ближайшим родственникам. Но ведь подобные ограничения сохранялись и в отношении аллода. Свободы распоряжения им так и не возникло. Без согласия сородичей владелец не мог его отчуждать. По наблюдениям Ж. Дюби, этот коллективный контроль над распоряжением аллодом во Франции со временем даже усиливался¹. То же самое наблюдалось и в Германии. В этом смысле представляет интерес «экономическая биография» семьи некоего фриза, исследованная А. И. Неусыхиным. Несмотря на распад большой семьи и дробление ее земельных владений между выделившимися из нее индивидуальными семьями, эти владения на протяжении поколений сохраняли свою аллодиальную природу — и все это в обстановке интенсивного процесса феодализации, охватившего в X в. северные области Германии!². Другие иссле-

¹ См.: *G. Duby. La société aux XI^e et XII^e siècles dans la région mâconnaise*. Paris, 1953, p. 272, 273, 305.

² См.: *А. И. Неусыхин. Судьбы свободного крестьянства в Германии...*, стр. 275, след., стр. 308, след.

дователи также отмечают, что свободы распоряжения земельным владением не знают не только «варварские Правды», но и более поздние формулы и завещания. Еще Г. Бруннер определенно подчеркивал, что дарения земель во Франкском государстве в VIII—IX вв. не свидетельствовали о наличии у дарителей неограниченного права распоряжения этими владениями и не давали такой свободы отчуждения и получателям дарений. Называя земли, являвшиеся объектом дарений, «собственностью», Бруннер утверждал, что то была «ограниченная собственность»¹. Наблюдения Бруннера получили в дальнейшем новые подтверждения: выяснилось, что дарение земли даже в пользу церковных и монастырских учреждений не вело к утрате всех прав бывших владельцев на подаренные земли; они сохраняли с переданными владениями связь, запрещали монастырю отдавать их в держание кому-либо другому и обладали правом выкупа этих земель².

Несомненно, между упомянутыми тремя формами земельных владений — аллодом, фольклендом и одалем — существовали различия. В частности, и возможности их отчуждения были неодинаковыми. Они были большими применительно к франкскому аллоду, чем к фолькленду и тем более к одалю, что отчасти можно объяснить относительно сильным влиянием римского права во Франкском государстве. Тем не менее внутреннее родство этих институтов очень глубоко, и основные признаки наследственного земельного владения семьи повторяются в каждом из них. Все эти виды землевладения возникли в варварском обществе и пережили трансформацию при переходе к феодализму. Первоначально они были связаны с патриархальной большой семьей, являясь основой ее хозяйства. И для одаля, и для фолькленда, и для аллода характерна тесная, мы бы сказали, интимная связь

¹ *H. Brunner. Die Landschenkungen der Merowinger und der Agilolfinger.* В кн.: *H. Brunner. Forschungen des deutschen und französischen Rechtes.* Stuttgart, 1894, S. 8, ff., 21, ff., 33—39; ср. *G. Frommhold. Der altfränkische Erbhof. Ein Beitrag zur Erklärung des Begriffs der terra salica.* Breslau, 1938, S. 28, 30, 31, 33—34.

² См.: *Л. Т. Мильская. Светская вотчина в Германии VIII—IX вв. и ее роль в закреплении крестьянства.* М., 1957, стр. 171, след.; *Е. Д. Романова. Прекарий на землях Сен-Галленского аббатства в VIII—IX вв.* В сб.: «Средние века», вып. XV, 1959, стр. 70—72.

семейной группы с землей. Даже тогда, когда термин «*alodium*» применялся к земле, находившейся в держании, он, по-видимому, сохранял прежнее значение «наследственная земля»¹.

Естественно, в институте одаля это единство видно с наибольшей отчетливостью. Понятие «одаль» означало не только «семейное владение», но и «родина», «отчина». В усадьбе, расположенной на земле одаля, семья жила на протяжении поколений, еще с языческих времен, в этой земле находились могилы предков. Еще во второй половине XIII в. в норвежском праве употребляется термин «*haugódal*», который обозначал право одаля, восходящее ко временам, когда совершались погребения в курганах. Словом, вся жизнь семьи протекала в этом владении, на которое поэтому было принято смотреть как на неотъемлемую принадлежность семьи или рода. При таком отношении к земельному владению оставалось мало места для применения к нему категорий товара, отчуждения, купли-продажи.

Таким образом, необходимо разграничивать понятия «семейная собственность на землю» и «частная собственность на землю»; первое понятие предполагает особо тесную, неразрывную связь семьи с земельным владением, второе — неограниченную свободу распоряжения землей. Иначе говоря, отношение к земле в первом случае существенно иное, чем во втором. Первая форма не индивидуализирована в такой мере, как вторая. И это естественно, — ведь и сам индивид в период раннего средневековья еще не являлся обособленной личностью, он был теснейшим образом слит с семейной группой.

При анализе отношений собственности в «дофеодальном» обществе существенное значение приобретает вопрос о дарениях. Особый интерес представляет институт даров, существовавший, по-видимому, у всех народов на стадии доклассового общества. Дар устанавливал тесное отношение между дарителем и получателем его, которое имело далеко не одно лишь материальное содержание. Передача подарка соединяла участников этого акта внутренними духовными узами, создавая своеобразную взаимную связь и даже зависимость. Это отно-

¹ См.: *Fr. Olivier-Martin. Histoire du droit français des origines à la Révolution.* Paris, 1951, p. 78.

шение отражало распространенное среди варваров представление о сопричастности индивида и принадлежащего ему имущества и свидетельствовало об отсутствии в их сознании четкой грани между человеческим существом и объектом его владения, о неотдифференцированности отношения человека к самому себе и к богатству, являвшемуся как бы продолжением его собственного существа.

Эти наблюдения¹ показывают невозможность рассмотрения отношений собственности в «дофеодальном» и раннефеодальном обществах только в плане чисто материальном, в плане вещных отношений. Понятия владения, присвоения, дарения непосредственно вводят нас в сферу межличных отношений, основывавшихся на родстве, племенной принадлежности. Область экономических отношений и категорий оказывается теснейшим образом переплетающейся с областью идеальных представлений, религиозных верований, социально-этических традиций и норм.

Конечно, было бы ошибочным смешивать подлинное существо общественных порядков, их материальное содержание с идеологизированными представлениями общества об этих порядках, с той их фетишизацией, которая сама порождалась специфическим бытием этого общества. Но не менее ошибочным и антиисторичным было бы игнорировать указанные представления, ибо они не оставались только в субъективном плане иллюзий, но находили материальное воплощение в человеческой практике. В частности, эти идеи и представления лежали в основе права, которым руководствовались варвары в своей жизни и которое регулировало их социально-имущественные и иные отношения.

Категории купли-продажи в «чистом виде» как простой товарной сделки, в первую очередь в отношении недвижимости, земли, варвары, по-видимому, еще не знали. Разумеется, дарения, широко практиковавшиеся в раннефеодальном обществе, существенно отличались от германских даров. Как правило, дарение в христианскую эпоху оформлялось письменным документом, формуляр которого генетически восходил к римскому частнособственническому праву. Но в какой мере реальное содержание дарения соответствовало букве грамоты? Это слож-

¹ См. ниже, § 2.

ный вопрос. Отметим лишь два взаимно противоречивых момента. Церковь, стремясь окончательно закрепить в своем владении полученные в виде дарений земли, была заинтересована в последовательном проведении принципа неограниченной частной собственности. Однако в действительности дарители подчас сохраняли связь с переданными ими владениями. Землями, подаренными светским владельцам, и впоследствии нельзя было свободно распоряжаться без ведома и согласия лиц, их подаривших.

Отмеченные особенности отношения к земле свободных общинников в «дофеодальный», а отчасти и в раннефеодальный период необходимо иметь в виду, когда мы рассматриваем проблему втягивания этого слоя общества в феодальную зависимость. Предпосылкой феодального подчинения мелких свободных землевладельцев были не их разорение и пауперизация, следовательно, не экспроприация их как собственников (подобно тому как это происходило в эпоху «первоначального накопления капитала»), хотя, разумеется, и эти процессы имели место, а скорее их апроприация — подчинение свободных общинников вместе с их наделами власти крупных землевладельцев. Апроприация совершалась различными методами, но она была, по-видимому, универсальным явлением повсюду, где шел процесс феодализации.

Среди различных форм превращения мелких землевладельцев в зависимых крестьян наиболее характерной и распространенной во Франкском государстве был «прекарий возвращенный». Согласно буквальному тексту грамоты, в основе этого вида прекария лежало отчуждение права собственности на землю мелким владельцем в пользу духовного или светского магната; в результате этого акта мелкий землевладелец превращался в держателя участка. Важно было бы, однако, подчеркнуть, что фактически никакого отчуждения, строго говоря, не совершалось, то была лишь юридическая форма, в которую облекался акт, имевший существенно иное содержание. Формуляр грамоты был дан римским правом. На самом же деле происходило подчинение мелкого землевладельца магнату, превращение его из свободного и независимого субъекта в зависимого человека, подзащитного магната, вследствие чего и земля крестьянина оказывалась под властью его сеньора, включалась в сферу его господства. Таким образом, не происходило отры-

ва земледельца от его участка, он по-прежнему самостоя-тельно вел свое хозяйство, но в силу складывавшихся в раннефеодальный период общественных условий имел возможность сохранить в своих руках эту землю, лишь вступив под покровительство сеньора¹.

Наиболее существенное в прекарной сделке, на наш взгляд, — именно акт личного подчинения крестьянина; распространение же на его землю права собственности сеньора — следствие признания личной зависимости.

Необходимо также подчеркнуть, что магнаты, стремившиеся поставить под свою власть возможно большее число мелких землевладельцев, добивались при этом в первую очередь не увеличения собственных доходов. Известно, что платежи, возлагавшиеся на прекаристов, как правило, были умеренными, барщинные повинности не были характерны для этой категории держателей; экономические выгоды для сеньоров они представляли небольшие и не в них состояла суть отношений между прекаристом и магнатом. Главным стимулом, побуждавшим магнатов подчинять себе крестьян и другие категории населения, было стремление упрочить свое общественное положение, расширить сферу власти, распространить, насколько возможно, свое личное могущество. Последнее же зависело, по глубокому наблюдению Маркса, не от размеров доходов крупных землевладельцев, а от числа их подданных². Уместно напомнить и другое соображение Маркса: «...если в какой-нибудь общественно-экономической формации преимущественное значение имеет не меновая стоимость, а потребительная стоимость продукта, то прибавочный труд ограничивается более или менее

¹ См. ниже, гл. III, § 1.

² К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 23, стр. 729: «Во всех странах Европы феодальное производство характеризуется разделением земли между возможно большим количеством вассально зависимых людей. Могущество феодальных господ, как и всяких вообще суверенов, определялось не размерами их френ-ты, а числом их подданных, а это последнее зависит от числа крестьян, ведущих самостоятельное хозяйство». Именно в этой связи Маркс, имея в виду «буржуазные предрассудки» современной ему исторической литературы, переносившей на средние века представления о капиталистическом обществе, бросает замечание: «Быть «либеральным» за счет средневековья чрезвычайно удобно» (там же, примеч. 192). Вспомним мысль Маркса о «емкости желудка» феодала как факторе, существенно лимитиrowавшем уровень эксплуатации крестьян.

узким кругом потребностей, но из характера самого производства еще не вытекает безграничная потребность в прибавочном труде»¹.

М. Блок, подчеркивая, что «было бы совершенно неверным видеть в отношениях сеньора и его подданных только экономическую сторону, как бы велика она ни была», замечает: «Конечно, не один франкский, а позднее и не один французский барон ответил бы так же, как и шотландский горец, когда его спросили, какой доход приносит ему его земля: «Пятьсот человек»².

Следовательно, не чисто вещный момент лежал в основе создания отношений феодальной зависимости крестьян от сеньоров в период раннего средневековья, а личное отношение непосредственной зависимости, отношение господства и подчинения. Поземельные отношения собственности были неразрывно связаны с этим личным отношением: власть сеньора над личностью подданного находила свое продолжение в его власти над землей, имевшей для него ценность постольку, поскольку она была заселена крестьянами и другими вассалами.

Конечно, это не значит, что земля не представляла для феодала материальной ценности. Он нуждался в доходах, получаемых с населявших ее крестьян, — без этих доходов он не мог бы быть феодалом и исполнять рыцарскую службу, вести воинственный образ жизни. Боевое снаряжение рыцаря, кольчуга, меч, конь стоили чрезвычайно дорого, и для того, чтобы принимать участие в войнах в качестве полноценных боевых единиц, рыцарям требовались значительные средства. Поэтому рыцарь не мог не быть землевладельцем, получателем ренты. В разных странах вырабатывалась норма землевладения, которая считалась своего рода «минимумом», способным дать обеспечение рыцарю. В Англии такой нормой служили пять гайд земли, и дружинник короля, имевший владение меньшего размера, назывался «безземельным». Во Франкском государстве конную службу профессионального воина мог исполнять лишь человек, обладавший не менее чем четырьмя мансами.

Но существенно подчеркнуть следующее: земля рас-

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 23, стр. 247.

² М. Блок. Характерные черты французской аграрной истории. М., ИЛ, 1957, стр. 121.

считается в этом обществе не только как источник доходов; владение богатством (земельным в первую очередь) было для феодалов орудием достижения цели, лежащей вне сферы чисто имущественных отношений.

Это обстоятельство свидетельствует о глубоком отличии феодальной земельной собственности от буржуазной, вообще от частной собственности в прямом смысле слова¹. Частная собственность — товар может сложиться лишь в условиях развитого товарного производства, будь то денежное хозяйство античности либо высшая форма товарного производства — капитализм. В этих условиях земля становится объектом чисто вещных, экономических отношений. В средние века, в особенности в раннее средневековье, понятие свободной частной собственности не приложимо к земле — ни тогда, когда она принадлежит мелкому земледельцу, ни тогда, когда она вместе с ним подпадает под власть крупного землевладельца. В обоих случаях налицо теснейшая, неразрывная, органическая связь земледельца с участком, на котором он живет и трудится. В индивидуальных случаях эта связь могла быть порвана, но как связь социальная, как отношение к земле класса общества, она окончательно порвалась лишь на заре капитализма. В этом смысле Маркс называет средневекового крестьянина, подвластного феодалу, «традиционным владельцем земли»². При переходе от первой из упомянутых форм — мелкого землевладения ко второй — крупному землевладению эта связь не нарушается и существенно не меняется: под контролем феодала находились как земля, так и человек, ее возделывающий, причем, подчеркнем еще раз, суть этого отношения заключалась именно во власти сеньора над личностью земледельца, вследствие чего его власть распространялась и на его участок. Можно сказать: земельная собственность феодала была опосредована его властью над крестьянином, собственностью на его личность. Сущность отношения присвоения, говорил Маркс о феодализме, состояла в отношении господства³. *Dominium* — и собственность, и власть, и господство.

¹ См. замечания С. Д. Сказкина в книге «Очерки по истории западноевропейского крестьянства в средние века». М., 1968, ч. I, гл. V.

² К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 25, ч. II, стр. 361.

³ См.: К. Маркс. Формы, предшествующие капиталистическому производству, стр. 36.

То же самое наблюдается и при тех вариантах развития феодализма, при которых прекарий не имел места или не играл столь существенной роли, как во Франкском государстве. В Англии в раннее средневековье профилирующей формой крупного землевладения был бокленд. Здесь под покровом римского института частной собственности устанавливалось совершенно иное отношение. Формуляр королевской грамоты гласил, что король жаловал монастырю или тэну землю в полную и ничем не ограниченную собственность. На самом же деле передачи земельной собственности не происходило, так как король обычно жаловал земли, не принадлежавшие к его патримонию. На правах бокленда по большей части передавались деревни или округа со свободным населением, которое было подчинено королю как главе племени или монарху, но не как крупному землевладельцу. Существо пожалования в бокленд состояло в передаче королем духовному учреждению или дружиннику прав, которыми он сам обладал по отношению к жителям этой территории: права сбора кормлений и податей, права суда и взимания штрафов. Следовательно, король жаловал, собственно, власть над людьми, а не земельное владение, иммунитет, а не поместье. Между владельцем прав бокленда и населением переданной ему территории устанавливались личные отношения зависимости, подданства, подвластности. Кэрлы, сидевшие на этих землях, не утрачивали вследствие королевского пожалования прав фолькланда на свои наделы. В результате пожалования создавалось такое положение, когда на одну и ту же землю возникало право бокленда, принадлежавшее магнату, и сохранялось право фолькланда у крестьян. Но ни то, ни другое право, строго говоря, не было правом частной собственности: фольклэнд представлял собой принадлежность крестьянина и его хозяйства, бокленд — власть его обладателя над крестьянами. Затем происходило феодальное «освоение» территории, оказавшейся под властью владельца бокленда в силу пожалования; он мог завести здесь барскую запашку, заставить крестьян исполнять новые повинности, т. е. максимально реализовать свою власть над ними.

Своеобразную разновидность этого способа подчинения мелких землевладельцев власти господ представляет развитие института норвежской вейцлы, имеющей

полную параллель и в других скандинавских странах. Бонды были обязаны за свой счет угощать и снабжать продовольствием, фуражом и транспортом конунга и его свиту во время их систематических разъездов по стране. Первоначально эти угощения были добровольными, но со времени объединения Норвегии под властью одного государя, дружина которого разрослась, они стали превращаться в обязательные поставки и дани. Речь шла о личном отношении подданства бондов королю. Однако в сагах превращение «пиров»-вейцл в обязательную повинность населения изображается как насильственное «отнятие одаля» королем Харальдом Прекрасноволосым у всего населения страны. Понятия «власть», «управление» и «собственность» (одаль) постоянно смешиваются в источниках того времени: они были неразличимы для средневековых скандинавов, и это в высшей степени показательно.

В дальнейшем короли стали жаловать своим приближенным-лендрманам право сбора угощений и кормлений, которым они пользовались. Термин «лендрман» буквально значит «обладающий землей человек», поэтому его часто переводят: «землевладелец», «крупный землевладелец» или «земельный господин». Но на самом деле лендрман был не собственником земли и не господином над землей, а человеком, обладавшим определенными правами по отношению к бондам, жившим на этой земле. Его могущество коренилось не в земле, а во власти над крестьянами. Лендрман не обладал правом собственности на пожалованную землю: эти пожалования в Норвегии всегда давались лишь на время и не имели наследственного характера. Лендрман мог «кормиться» за счет бондов и управлять ими от имени короля, но феодалом в обычном понимании он не был.

Сколь ни велики были различия в положении крестьян во Франции, Англии и Норвегии, мы наблюдаем в них нечто общее. В любом случае, идет ли речь о франкских прекаристах церкви и монастырей, или об англосаксонских крестьянах, находившихся под властью владельца бокленда, или о скандинавских бондах, обязанных устраивать вейцлы королю либо его дружиннику, в основе этих отношений лежал прежде всего элемент личного подчинения непосредственных производителей могущественным людям, обладавшим над ними властью. Крупное земле-

владение в раннее средневековье по существу своему — управление людьми, сидящими на земле, личная власть над ними, власть судебно-административная, военная, сопряженная со сбором даней, рент, податей (из даней-кормлений со временем развивались как феодальная рента, так и государственная подать).

Для понимания системы социальных отношений, характерной для средневекового общества, было бы полезно и поучительно познакомиться с тем, что оно само о себе думало. Такую возможность отчасти предоставляет терминология исторических источников, тот словарь, которым пользовались люди средневековья в своем социальном общении.

Очень интересно проследить применение понятий «владение», «богатство». Так, слово «владение» в древнеанглийском языке наряду с понятием «богатство» означало и понятия, характеризующие личные качества обладателя этого богатства: «счастливый», «гордый», «могущественный», «благородный», «доблестный», «удачливый». Слово же, которое обозначало бы богатство исключительно как чисто хозяйственное, вещественное явление, в древнеанглийском языке вообще не было¹. Богатство в сознании людей варварского общества — показатель личной или родовой чести и доблести. Экономическая сфера деятельности человека непосредственно связана с этическими ценностями этого общества. Точно так же и в древнеисландском языке указанные понятия объединяются в один пучок значений. В немецком языке слово «eigen» первоначально относилось, по-видимому, лишь к лицам («свой», «собственный», т. е. принадлежащий к семье, к роду, либо — «подчиненный», являющийся чьей-либо собственностью, т. е. раб), и обозначение этим словом понятия «собственность» (Eigentum) пришло вместе с дальнейшим развитием отношений зависимости между людьми².

¹ Eadig, saelig — богатый, счастливый, wlouc — богатый, гордый, rice — богатый, могущественный, ag — честь, благослучие, владение, sped — богатство, удача, доблесть. E. Leisi. Aufschlussreiche altenglische Wortinhalte. «Sprache — Schlüssel zur Welt». Düsseldorf, 1959, S. 316.

² См.: F. Mezger. Zur Frühgeschichte von Freiheit und Frieden. «Fragen und Forschungen im Bereich und Umkreis der germanischen Philologie». Berlin, 1956, S. 15—16.

И в феодальном обществе понятия «бедный» и «богатый» имели не одно экономическое содержание и свидетельствовали не только об имущественном положении человека, но также (а может быть, и прежде всего) о его социальном статусе. Раупер не значило просто «бедный»; это — мелкий, незначительный человек, не пользующийся влиянием, не обладающий властью, не занимающий должности, не владелец лена. Антитеза *pauperes* — не «богатые», а «могущественные», «знатные» (*potentes, honorati*). *Pauperes* в этом обществе — *minus potentes, privati homines*¹.

В англосаксонских законах X и начала XI в. деление общества на «богатых» и «бедных» постоянно перемежается с противопоставлением «знатного» (*nobilis*) «незнатному» (*ignobilis*). В текстах законов на английском языке, содержащих упоминания «богатых» и «бедных», при последующем переводе на латынь вместо этих терминов появились *pobiles* и *ignobiles*, обнаруживая сословный характер понятий «бедность» и «богатство»².

Судя по исландским и норвежским сагам, скандинавское общество в XII—XIII вв. делится на «больших», могущественных людей и людей «маленьких», незначительных, причем, с точки зрения авторов саг, богатство или бедность не выступают в качестве определяющего признака отнесения к первой или ко второй категории. Здесь опять-таки обнаруживается «сословный» критерий богатства. В аграрном обществе могущественным и знатным мог быть лишь крупный землевладелец, богатый собственник. Но понятие экономического богатства не выступает в этом обществе вполне отдифференцированным от категорий социального престижа и личной власти.

Было бы неверным противопоставлять внеэкономическое принуждение феодальной собственности как нечто постороннее ей или во всяком случае не входящее в самое ее существо. При такой постановке вопроса феодальная собственность представляется в виде полной частной соб-

¹ K. Bosl. *Potens und pauper. Begriffsgeschichtliche Studien zur gesellschaftlichen Differenzierung im frühen Mittelalter und zum «Pauperismus» des Hochmittelalters*. В кн.: K. Bosl. *Frühformen der Gesellschaft im mittelalterlichen Europa*. München — Wien, 1964, S. 109, 113, 116.

² См.: А. Я. Гуревич. *Английское крестьянство в X — начале XI в.* В сб.: «Средние века», вып. 9, 1957, стр. 116—117.

ственности на землю, чисто вещного, экономического права, и, таким образом, стирается всякое различие между собственностью феодальной и собственностью буржуазной, или римской. Феодальная собственность не только предполагает внеэкономическое принуждение, но и включает его в себя в качестве составной, конститутивной части, ибо феодальная собственность представляла собой не право свободного распоряжения какой-либо территорией, а власть над людьми, живущими и трудящимися на этой земле. По мысли Маркса, в феодальную эпоху высшая власть в военном деле и в суде была атрибутом, т. е. существенным свойством земельной собственности¹. Внеэкономическое принуждение не было лишь средством выкачивания из крестьян прибавочного труда, точно так же как само крупное землевладение не служило феодалу только источником обогащения и доходов. Внеэкономическое принуждение было неотъемлемым признаком власти сеньора над своими подданными.

Приведенные выше соображения об особенностях феодальной собственности — и вообще собственности на землю в средние века — теснейшим образом сопряжены с пониманием средневекового общества как такого, в котором доминирует тип непосредственных, личных социальных связей. Забвение или недооценка этого решающего, на наш взгляд, обстоятельства ведут к одностороннему пониманию существа феодальных производственных отношений. Нередко историки сводят отношения между феодалами и крестьянами к борьбе за ренту: первые стремятся любыми средствами ее увеличить, вторые — понизить или закрепить ее на определенном уровне. Не вызывает никакого сомнения, что в период зрелого феодализма эта борьба имела место и чрезвычайно обострялась по мере развития товарного производства, когда создавался достаточно емкий рынок для сбыта сельскохозяйственных продуктов. Именно в XIII—XIV вв. в Западной Европе начинаются великие крестьянские восстания. Но правомерно ли перенесение представлений о производственных отношениях развитого и позднего феодализма на раннее средневековье? Стремились ли феодалы и этого периода к увеличению гнета над крестьянами и выжиманию из их хозяйств максимума возможного? Не

¹ См.: К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 23, стр. 344.

отсюда ли мысль о том, что только упорная борьба крестьян ограничивала неумеренные аппетиты сеньоров и сохраняла необходимый продукт крестьянского хозяйства от их посягательств и самые эти хозяйства от разорения?

Социальные антагонизмы раннефеодального общества имели иную природу. Крестьяне боролись в тот период прежде всего против своего подчинения власти господ, за сохранение личной свободы, подчас и старой веры. Вопрос о величине ренты не мог еще выступить на передний план и приобрести решающее значение для отношений между крестьянами и господами.

Давно установлено, что величина ренты, взыскивавшейся феодальными господами с крестьян, как правило, не зависела от размеров крестьянских наделов. Обычно не существовало единого общего уровня эксплуатации крестьян не только в масштабах страны, но и в пределах области, даже одной сеньории: формы и размеры ренты бесконечно варьировали. Единообразие рент, взимаемых феодалом с крестьян, населявших одну деревню, было кажущимся: одинаковые платежи и повинности должны были платить крестьяне, имевшие наделы неодинакового размера и качества и семьи различного состава¹. Следовательно, «уравниловка» в повинностях на деле приводила к крайней пестроте уровней обложения, к тому, что в одних случаях феодал мог присваивать весь прибавочный продукт крестьянина, а в других — лишь часть его. В основе этих отношений мы не найдем фактора экономического регулирования и хозяйственной целесообразности. На ранних этапах развития феодализма традиция и всякого рода привходящие обстоятельства, подчас весьма далекие от хозяйственных нужд и интересов, играли большую, а иногда и решающую роль в установлении способов эксплуатации.

Личный статус держателя, его происхождение, способ его втягивания под власть господина, форма его зависимости определяли его отношения с феодалом и характер его эксплуатации. Именно личные, внеэкономические моменты выступают здесь на первый план. Экономические формы эксплуатации ими опосредованы, являются как

¹ См.: Я. Д. Серовайский. К вопросу о возрастании ренты при феодализме. «Ученые записки Казахского госуд. университета им. С. М. Кирова. Серия историческая», т. XXXI, вып. 3, 1957, стр. 95.

бы производными от них. Поэтому в поместных кадастрах и полиптиках раннего средневековья фиксируются, наряду с повинностями и платежами, которые собирали землевладельцы, имена держателей и даже членов их семей. Феодалу было далеко не безразлично, кто сидит на его земле, сколько людей и какие именно люди ему подчинены, каковы их личный и общественный статус, форма зависимости.

Складывавшаяся в тот период феодальная собственность имела особый характер. Она принципиально отличалась от частной собственности буржуазного общества. Нет ничего более неправильного, чем представлять себе феодала в виде полного, неограниченного собственника своей земли¹. Он не был таковым ни в своих отношениях с крестьянами, сидевшими на его земле, ни по отношению к вышестоящему сеньору.

Зависимый крестьянин — непосредственный владелец земли, на которой он ведет свое хозяйство, и его права на надел должен был признавать его господин. Маркс неоднократно отмечал, что феодальным правом на землю в средние века обладали не одни феодалы, но и крестьяне². Отсюда следует, что необходимо в полной мере учитывать всю специфику феодальной собственности на землю. Источником и необходимого, и прибавочного продукта служил труд крестьянина, и феодалы, присваивая прибавочный продукт-ренту, должны были считаться с тем, что крестьяне владели участками земли, в их руках находилось ведение хозяйства, они были собственниками необходимого продукта и орудий производства. Поэтому сгон крестьян с земли, предпринимавшийся господствующим классом в позднее средневековье в Англии и отчасти в некоторых других странах, воспринимался как прямое насилие и нарушение крестьянских прав. На протяжении всего предшествующего периода существования феодальной системы эти права крестьян на землю всерьез под сомнение не ставились. В странах же, где не было насильственной ликвидации владельческих прав крестьян, пос-

¹ Между тем в нашей литературе (в частности, в учебниках и пособиях по политической экономии и марксистской философии) закрепился тезис о «полной собственности» феодала на средства производства: феодал как бы приравнивается к рабовладельцу или к капиталисту!

² См.: К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 23, стр. 730.

ледние сумели превратить их в буржуазное право частной собственности, как это произошло во Франции в результате буржуазной революции 1789—1794 гг. или в Норвегии при распродаже коронных и дворянских земель в XVII и XVIII вв.

«Расщепленная» собственность, при которой «верховное распоряжение» землей принадлежит якобы феодалу, а правом пользования наделен крестьянин, — фикция юридического мышления нового времени, чуждая как исторической действительности, так и правосознанию средневековья. Понятия «власть», «присвоение», «владение» подходят к этим отношениям гораздо больше, чем понятия «полная» или «частная собственность», «верховная собственность», «монополия на землю» и т. п. Для феодальных отношений существенно было установление и поддержание личной зависимости крестьян от сеньора в самых различных ее формах: от «сословной неполноправности» до крепостничества в полном смысле этого слова. В последнем случае именно потому, что личная зависимость была столь полной, что было можно говорить о праве собственности господина на крепостного, это право распространялось и на землю. Но комплекс отношений, который мы обычно обозначаем терминами «крепостничество», «крепостное право», реально складывается впервые в позднефеодальном обществе, когда личные отношения все более «овеществлялись», приобретая товарную природу. Ведь формы феодальной зависимости крестьян в период раннего средневековья, сколь суровыми они ни становились, строго говоря, не выражались в крепостничестве. Крепостное право — это специфическая форма зависимости и эксплуатации крестьян, которая развилась в условиях растущей товарности сельскохозяйственного производства и укрепляющегося самодержавия. «Второе издание крепостного права» в Восточной Европе в XV—XVIII вв., собственно, было первым и единственным в европейской истории¹.

В то время как крепостной (подобно римскому колону) прикреплен к земле поместья, причем это прикрепле-

¹ К сожалению, понятие «закрепощение» применяется к Западной Европе периода раннего средневековья очень широко, даже и в серьезной научной литературе. См., например, А. В. Конокотин. Очерки по аграрной истории Северной Франции в IX—XIV веках. Иваново, 1958. Ср. цит. выше работы А. И. Неусыхина и Л. Т. Мильской.

ние проводится в жизнь не одним лишь его господином, но и государством (без достаточно централизованного государства закрепощение вообще неосуществимо), зависимый крестьянин в Западной Европе периода раннего средневековья не был прикреплен к держанию, которое он мог даже оставить, он был связан с личностью сеньора, зависимость от последнего сохранялась и в этом случае, ибо его «тело» по-прежнему принадлежало его старому господину. Эта связь называлась «телесной», «по плоти и кости», она представляла собой систему личных отношений. М. Блок, подчеркивая эти черты французского серважа, пишет: «Мы имеем довольно много определений серважа, сделанных судьями или юристами; до XIV века ни одно из них не упоминает среди характерных признаков этого состояния прикрепления к земле в какой бы то ни было форме»¹. Не менее сильно выражена личная природа связи зависимого с господином и в германской *Leibeigenschaft*: «тело» крестьянина принадлежит сеньору, а не прикреплено к участку, как у крестьян категории *Hörige*.

Будучи прикреплен к земле, бесправный крепостной, в силу полной своей подвластности помещику, мог быть продан и без участка, «на вывод». Между тем в изучаемый нами период зависимый крестьянин, выполнявший повинности и плативший ренту, не мог быть произвольно лишен надела. Английский юрист Брактон называл «привилегией» вилланов то, что их нельзя было удалить с земли.

Когда зависимость крестьян от господ была относительно слабой, отчетливо видно, что феодал не имел права собственности на землю крестьянина. Таково, например, положение английских сокменов и других «свободных людей», находившихся под покровительством и судебной властью лордов: признавая в них своих господ, сокмены владели своими участками, уплачивая чисто номинальный чинш, и имели право «уйти вместе со своей землей» или продать ее.

В основе отношений в среде феодалов, между сеньорами и вассалами, мы опять-таки обнаруживаем прежде

¹ М. Блок. Характерные черты французской аграрной истории, стр. 137. Ср.: А. *Déléage*. La vie rurale en Bourgogne jusqu'au début du onzième siècle. Mâcon, 1941, t. 1, p. 584.

всего не отношения земельной собственности, но личные отношения. Последние, как правило, транспонировались на землю, но никогда не сводились к поземельному отношению. Сеньориально-вассальная связь всегда была некоей формой отношений личной верности и покровительства, обмена услугами. Более того, отношение между вассалом и сеньором могло существовать вообще без пожалования земли. Уже генезис сеньориально-вассальных отношений свидетельствует о том, что они возникали сплошь и рядом как чисто личные отношения покровительства, службы, верности. Таковы были связи между вождем и дружинниками, приносившими вождю присягу верности и служившими ему не за земельный бенефиций, а на условии получения доли в захваченной добыче, за оружие, коней и пиры, которые вождь устраивал для своей дружины. Таковы были и отношения между королями и их подданными, получавшими от королей пожалования в виде даней и кормлений; так складывалась «вассальная зависимость без фьефов или фьефы, состоявшие только из даней»¹. Далее, дружинники могли получать землю в вознаграждение за уже оказанные услуги, как это происходило во Франкском государстве при Меровингах, до бенефициальной реформы Карла Мартелла; следовательно, отношение вассала к своему господину основывалось на личной коммендации, а земельное дарение не являлось условием выполнения службы.

Могут возразить, что все перечисленные формы отношений не являются, строго говоря, полностью феодальными именно потому, что в основе их еще не лежал принцип условного земельного пожалования². Но в таком случае под понятие лена не подойдут и многие формы сеньориально-вассальных отношений периода «классического» средневековья. Таковы, например, феоды, состоявшие из доходов разного рода (*feodum de bursa*, нем.

¹ К. Marx. Secret Diplomatic History of the Eighteenth Century. London, 1899, p. 76.

² Суженное понимание бенефиция, которое отстаивали П. Рот, Г. Бруннер и другие историки, уже давно встретило основательные возражения со стороны ряда ученых. См.: А. Dopsch. Benefizialwesen und Feudalität. В кн.: А. Dopsch. Beiträge zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Gesammelte Aufsätze. Zweite Reihe. Wien, 1938. Ср. также: Ю. Л. Бессмертный. Система внутриклассовых отношений среди сеньоров Северной Франции и Западной Германии в XIII в. В сб.: «Средние века», вып. 30, 1967, стр. 151, след.

Kammerlehen); пожалования на праве феонов церквей, аббатств, десятин и других церковных поступлений. Французские февдисты — феодальные юристы применяли выражение *fiefs en l'air* («воздушные фьефы») к феодам, не состоявшим из материальных вещей¹. Понятие «феод» распространялось на должности, сферы господства, юрисдикцию и другие верховные права и регалии. В отличие от большинства историков XIX в. и тех историков XX в., которые считали поземельный феод первоначальным, ряд современных исследователей (Г. Миттайс, Ф. Л. Гансгоф, В. Эбель) придерживаются мнения, что служебные лены (*honores*) представляли собой самостоятельный тип феода, независимый от земельного пожалования². «Расширительное» применение понятия «феод» в средние века имело место не только в правовой сфере (лен-графство, лен-княжество, судебный лен и т. д.), но и за ее непосредственными пределами. В лен могли быть пожалованы право горной разработки и должность палача, он мог состоять из виселицы и из городских прав; были ленники, державшие... публичные дома. «Ленное сознание» средневекового человека распространяло эту систему правоотношений на самые неожиданные (для нас!) объекты и связи. Представление об отношении человека к богу мыслилось как отношение вассала к сеньору; рыцарь-миннезингер просил свою даму пожаловать ему свое сердце в лен. Всякое земельное владение представлялось леном, его нужно было от кого-то держать. Когда реального сеньора не оказывалось, аллод — фактически независимую земельную собственность — именовали «солнечным леном».

Идея, что «нормальной» формой феода является земельное пожалование и что все другие его формы — не «подлинные», сложилась только в XIII в.³. Но в этот период появляются и широко распространяются разнообразные виды «фьефов-рент», при которых сеньор жаловал

¹ См.: F. L. Ganshof. Qu'est-ce que la féodalité? Bruxelles, 1957, p. 131—133.

² См.: W. Ebel. Über den Leihgedanken in der deutschen Rechtsgeschichte. «Studien zum mittelalterlichen Lehnswesen» (Vorträge und Forschungen, V. Bd.) Lindau und Konstanz, 1960, S. 12, ff.

³ См.: H. Mitteis. Lehnrecht und Staatsgewalt. Weimar, 1933, S. 130, ff.; W. Ebel. Über den Leihgedanken..., S. 15, ff.

своему служилому человеку не землю, а доход с нее либо доход от торгового местечка, пошлины всякого рода, доходы от мельничных и иных сборов, короче говоря, денежные поступления¹. «Фьеф-ренту» рассматривают в известном смысле уже как форму разложения «классического» лена — земельного пожалования. Но нечто подобное мы наблюдаем и в странах, в которых такие лены (в узком смысле слова) не получили распространения, например в Скандинавии. Пожалование вейцлы представляло передачу права сбора доходов с населения в виде угощений или продуктовых платежей без передачи самой земли под власть получателя пожалования. Специфичны были и ленные пожалования на Руси.

Вообще нужно отметить, что установить реальную грань, отделяющую дань от феодальной ренты, чрезвычайно трудно, а в ряде случаев даже и невозможно. Трудность, на наш взгляд, коренится в том, что и в основе отношений данничества, и в основе вассальной зависимости было нечто общее. Это общее заключалось, разумеется, не в отношениях собственности на землю, а в обладании властью над людьми. Такой властью пользовался государь или князь, собиравший дани и угощения с населения, которым он управлял; ею пользовался и сеньор, повелевавший своими вассалами. В одних случаях эта власть могла носить личный характер и не сопровождаться установлением поземельно-ленной зависимости подданных от господина, в других случаях такая зависимость создавалась.

Вышеизложенное дает основание для того, чтобы предположить: ленное пожалование в виде земли было лишь одной из разновидностей сеньориального пожалования вассалу, одной из многих возможных форм вознаграждения его за верность и службу, но вовсе не единственной и строго обязательной формой. Представление о том, что феодальное пожалование непременно должно было быть пожалованием земли, оправдано только при принятии за единственную «законную модель» феодализма его «классического» (французского) варианта. Но, как мы видели, даже и в рамках этого варианта встречаются

¹ См. подробнее: Ю. Л. Бессмертный. Изменение структуры межсеньориальных отношений в Восточной Франции XIII в. Сб.: «Средние века», вып. 28, 1965, стр. 55, след.

всякого рода «аномалии» и несоответствия привычной «модели».

Итак, вассальное отношение могло сопровождаться земельным пожалованием, но могло существовать и без него — при пожаловании власти над населением, либо собираемых с него доходов без передачи земли, либо при пожаловании доходов неземледельческого происхождения. Решающим для конституирования феода являлся не объект пожалования, — как мы могли убедиться, он бывал самым различным, — а принадлежность получателя феода к рыцарству, к благородному сословию. Важна была не столько форма пожалования, сколько самый факт существования военного класса за счет эксплуатации сельского населения, какую бы конкретную форму эта эксплуатация ни принимала. И везде, где мы находим в средние века военный класс, возвышающийся над основной массой крестьянского населения, мы обнаруживаем и зависимость крестьянства от господ-воинов, эксплуатирующих его труд и управляющих обществом. Нет никаких убедительных оснований противопоставлять земельную форму сеньориального пожалования всем остальным, ибо любому из этих пожалований присуще одно общее для них качество, которое и является определяющим, а именно — наделение вассала личной властью над крестьянами, в силу чего он и получал возможность их эксплуатировать. Естественно, в аграрном обществе периода раннего средневековья тенденция к обеспечению рыцарства доходами с земли была наиболее мощной. Нормандские сеньоры, отказываясь от подарков в виде драгоценностей, оружия и коней, которые им предлагал герцог, требовали земель: обладание землями сделало бы для них возможным содержать многочисленных рыцарей¹. Фьеф, пожалованный рыцарю, представлял для него ценность постольку, поскольку на земле фьефа сидели крестьяне, переходившие под его власть и принужденные в силу этого платить ему ренту. Следовательно, не земля сама по себе, а крестьяне, населявшие ее, были необходимы для выполнения рыцарем военной службы.

Важнейшим и неотъемлемым признаком вассальной зависимости была преданность вассала сеньору, устанав-

¹ См.: *M. Bloch. La société féodale. Les classes et le gouvernement des hommes. Paris, 1940, p. 247.*

ливавшаяся при посредстве присяги верности. В основе своей это личное отношение покровительства и служения, — без той или иной формы коммандации и сюзеренитета нет феодальных отношений.

Таким образом, феодализм не может быть сведен к аграрным отношениям. Последние являются его основой в указанном выше смысле: военный класс общества, связанный узами взаимных личных обязательств, господствовал над классом крестьян, причем это классовое господство, верховенство дворянства *in corpore* обязательно и неизбежно принимало формы личного господства отдельных членов высшего сословия, объединенных в иерархию, над зависимыми от них крестьянами.

Поэтому личный характер в средние века имели не только общественные отношения, но и отношения политические: публичная власть принимала форму частнопроводного отношения, при котором подданные государя оказывались на положении его вассалов, а самая власть приобретала характер патримониальный. Вся история Франции вплоть до XV в. представляет историю объединения страны вокруг королевского домена, включения ее частей в состав владений короля. Его верховенство как государя на протяжении веков в той или иной мере оставалось фикцией, и прерогативы носителя публичной власти постоянно нарушались. Реальными же были власть и влияние, которых ему удавалось добиться как сеньору. Римско-германский император был обладателем высшего земного титула, носителем идеи универсальной империи, однако действительной властью он пользовался преимущественно в собственных владениях.

Средневековое феодальное государство — это прежде всего союз сеньоров и их непосредственных подданных, подчинивших себе остальное население. Такое государство строится не на абстрактном принципе территориального суверенитета, но на системе вассальных договоров. У феодального государства еще нет и не может быть точных границ: оно охватывает совокупность личных отношений между определенными индивидами — князьями, баронами, рыцарями, между их семьями и родами. Поэтому пределы средневекового государства меняются в зависимости от личных судеб тех или иных владетелей, от заключаемых ими династических, брачных и наследственных сделок, от конфликтов между ними. Было бы не-

оправданной натяжкой объяснять возникновение в XII в. державы Плантагенетов, объединившей ряд областей Франции с Английским королевством, торговыми связями или иными материальными предпосылками, на которых складываются государства нового времени: династические комбинации отторгли от Франции богатейшие обширные провинции и надолго поставили их под власть королей Англии, и лишь напряженная борьба «выправила» эту «аномалию», вернув Аквитанию и соседние области в состав Французского государства, но на это потребовалось три столетия!

Когда говорят о «поместье-государстве», обычно имеют в виду обладание сеньором публичной властью над населением его поместья. Но, может быть, правильнее было бы говорить о государстве-сеньории: если поместье и имело некоторые признаки государства, то государство в еще большей мере обладало чертами феодальной сеньории, опиравшейся на личные связи между сеньором и вассалами. Не отсюда ли — трудность реального разграничения между признаками базиса и надстройки применительно к средневековому социальному строю, относительность и двойственность этих понятий, столь определенных и недвусмысленных в буржуазном обществе? Политика и экономика всегда взаимно обусловлены, но в современном обществе их тем не менее нетрудно логически расчленить. Иначе дело обстоит в обществе феодальном, где вопрос о собственности был вместе с тем вопросом о власти и, наоборот, политическое господство сливалось с отношениями собственническими.

Понятия и терминология средневековья в этом смысле очень симптоматичны. Землевладельца сплошь и рядом именовали «господином земли», имея в виду не господство его над территорией, а власть над населением. Понятие «сеньория» объединяло в себе понятие господства над людьми и верховенства в пределах определенной территории. Территориальный князь — это государь, властвовавший над подданными, населявшими его княжество. С другой стороны, возникала идея, согласно которой король являлся собственником всей земли своего государства. Государям раннего средневековья не было чуждо отношение к своему королевству как к наследственному владению; они его делили между сыновьями, видели в нем свою вотчину. Однако «собственность» ко-

роля на его королевство, разумеется, не имела ничего общего с правом частной собственности, она реально расшифровывалась как суверенитет, т. е. опять-таки была сеньориальной властью над вассалами, свободными крестьянами, горожанами, духовенством и другими подданными.

Лишь на стадии зрелого феодализма государство из союза определенных лиц, связанных сеньориально-вассальными отношениями, постепенно перерастает в совокупность учреждений: королевской курии, сословного представительства, местных собраний. Тем не менее и в этих учреждениях момент личных связей и зависимостей держался очень упорно. Например, в английском парламенте представительной была лишь палата общин, тогда как верхняя палата заполнялась персонально приглашенными лордами, связанными с королем не только подданством, но прежде всего вассальными узами. Эти принципы — публичного верховенства и частноправового подчинения — сосуществовали, переплетаясь, на протяжении столетий. В период раннего средневековья первый принцип отступал на задний план по сравнению со вторым. Так, при Каролингах реальное могущество королей опиралось прежде всего на сеньориальное господство над их прямыми вассалами и бенефициариями, над теми лицами и слоями населения, которые искали их частного покровительства; публичная же власть все более ускользала от короля, ее узурпировали, превращая во власть частную, местные владыки, графы, епископы и другие феодалы. Публичная власть, не перераставшая в частную, становилась, по сути дела, фиктивной, номинальной. Такой была императорская власть последних Каролингов, и империя — идейно-политическое наследие античности, возрожденная было Карлом Великим, — распалась уже при его внуках. Политическая раздробленность в эпоху раннего феодализма — не признак слабости государства, а естественное в тех условиях его состояние: то был иерархизированный союз вассалов и сеньоров, опиравшийся на систему личных связей, преобладавшую в том обществе форму социальных отношений. Слабым это государство представляется при сравнении его с формой государства нового времени, неотъемлемым признаком которого является централизация. Но это не признак, присущий феодально-средневековой политической организации.

Разумеется, в этой форме государства королевская власть долгое время обладала ограниченными возможностями и реальными правами. Общество состояло из сбособленных и замкнутых в себе небольших самодовлеющих групп. Слабость сцепления их между собой — признак большой их внутренней сплоченности: жизненные силы этих групп действуют преимущественно «вовнутрь», а не «вовне». Попытки укрепления королевской власти обычно шли по обеим линиям: по пути утверждения как публичного суверенитета короля, так и его сеньориальных полномочий. Генрих II Плантагенет, стремясь ослабить свою зависимость от вассалов, ввел «щитовые деньги», дававшие ему возможность опереться не на вооруженные силы баронов и рыцарей, а на наемное войско; одновременно он реформировал народное ополчение. Король как бы стремился эмансипироваться от ставших стеснительными пут личных связей со своими вассалами, ослабить их роль в управлении государством. Тем не менее и при нем, и при его преемниках сеньориальная власть короля продолжала сохранять свое значение. Недаром «Великая Хартия вольностей» по преимуществу регулировала отношения между феодальным сюзереном и его вассалами — личными подданными (а также между баронами и их субвассалами).

Нам пришлось затронуть вопрос о феодальном государстве только потому, что он оказался непосредственно связанным с вопросом о характере феодальной собственности. Эта собственность не может быть понята только как социально-экономическая категория, она была вместе с тем и категорией социально-политической, поскольку включала в себя отношения вассальной зависимости и политического господства.

* * *

К концу средних веков, когда все более возрастала роль экономических факторов развития, личный аспект социальных отношений стал отступать на задний план. Соответственно изменялось и содержание земельной собственности: она приближалась к окончательному превращению в свободную частную собственность, в одних случаях — в руках дворянства, в других — в руках непривилегированных, крестьян или бюргеров. Однако до тех пор, пока сохранялся феодальный строй, оставались и ограни-

чения собственности. В Англии, в стране, где трансформация аграрных отношений на буржуазный манер шла быстрее и радикальнее, чем в остальной Европе, новое дворянство, по сути своей уже класс буржуазных собственников, тем не менее смогло утвердить свое право частной собственности на землю только после победы революции XVII в. и отмены рыцарского держания — вассальных обязательств дворян-землевладельцев по отношению к короне. Известно, какое видное место занимал вопрос о ликвидации сеньориальных прав, т. е. о превращении ограниченной феодальной собственности в свободную, частную буржуазную собственность, во Французской революции конца XVIII в., но здесь это превращение совершилось не в интересах дворянства, как в Англии, а в интересах буржуазии и крестьян.

В предшествующие же эпохи структура землевладения сохраняла «политическую» и «эмоциональную», «сентиментальную» окраску (Маркс), и эта невычлененность сферы экономической из сферы политики, морали, религии, связанность ее ритуалом и господствовавшими в обществе мифологическими системами — характерная черта всех докапиталистических формаций.

Мы рассмотрели здесь не только раннефеодальный период, но и бегло период развитого феодализма, для того чтобы отчетливо выявить особый характер собственных отношений при феодализме и тенденцию их развития. При всех различиях между разными этапами феодальной формации непосредственные личные связи между людьми оставались здесь в той или иной мере преобладающим типом социальных отношений. Этот тип связей пронизывает все стороны их общественной жизни и налагает неизгладимый отпечаток на самые различные институты. Мы считали необходимым сконцентрировать внимание именно на личных связях — важном факторе складывания ранних форм собственности, потому что без учета этого фактора, как и без исторического подхода к понятию «собственность», невозможна характеристика любого из докапиталистических обществ. Обычно феодальное общество рассматривается в сопоставлении с буржуазным. Но многие существенные стороны феодализма выступают более отчетливо при изучении его в ряду других докапиталистических обществ, в которых тип личных социальных связей доминировал.

§ 2. БОГАТСТВО И ДАРЕНИЕ В ВАРВАРСКОМ ОБЩЕСТВЕ

Как уже было упомянуто выше, одна из помех на пути к глубокому пониманию структуры и функционирования общества эпохи раннего средневековья состоит в том, что историки не всегда сознают, в какой мере понятия, которыми они пользуются при его изучении и которые они естественно и, может быть, невольно заимствуют из современности, не соответствуют самой сущности социальных отношений в обществах удаленных от нас эпох. Прямой перенос в эти общества таких понятий, как «частная собственность» или «демократия», мешает понять сущность господствовавших в тот период отношений собственности или системы управления. Попытки рассмотрения этого общества преимущественно под углом зрения его экономического развития также могут повлечь за собой серьезные искажения, если не учитывать того решающего обстоятельства, что система социальных связей в этом обществе строилась на иных основаниях, нежели в новое время. Вновь подчеркнем, что социальные отношения в эпоху раннего средневековья не были фетишизированы товарным производством и обменом¹.

Поэтому, возможно, было бы целесообразно при изучении средневекового общества, в особенности на ранних этапах его истории, прибегать к сопоставлению его не только с современным обществом, но и с доклассовыми социальными структурами, ибо оно, несомненно, имеет с ними некоторые общие черты. Разумеется, это сопоставление допустимо лишь в определенных границах. Раннефеодальное общество — не первобытное, в нем зарождаются антагонистические классы, социальное разделение труда, система родоплеменных отношений сменяется системой отношений господства и подчинения, вассального договора и службы. Но вместе с тем между доклассовым и раннефеодальным обществом существует определенное сходство. Всем доклассовым и раннеклассовым структурам присуща относительная нерасчлененность социальной практики, ярчайшим показателем которой были отсутствие или неразвитость классов. В силу того что общественные связи сохраняли здесь характер

¹ См. сб. «Проблемы истории докапиталистических обществ». Кн. I. М., 1968.

непосредственных, личных отношений между людьми, индивид — в той мере, в какой применительно к этому обществу можно говорить о выделении индивида в рамках социальной группы¹, — не был отчужден от своей деятельности: такое отчуждение происходило в развитом классовом обществе, достигая законченной формы при капитализме. Вне этого контекста невозможно уяснить ни одной из сторон социальной жизни эпохи раннего средневековья.

«Модель» общества, основанного на господстве непосредственных общественных связей, дает нам этнография. Изучая сохраняющиеся кое-где еще поныне архаические общества (австралийцев, североамериканских индейцев, племен Тропической Африки), ученые наблюдают эту «модель» в «живом виде». Многие признаки доклассовой структуры, вне сомнения, присущи не только народам и племенам, изучаемым этнографами: сходные черты некогда имели и другие народы, давно уже перешедшие на более высокую ступень развития. Поэтому осмозрительное применение этой «модели» в историческом исследовании, возможно, принесло бы пользу. Ведь и у отсталых племен, наблюдаемых этнографами XIX и XX вв., и у европейских народов раннего средневековья существовал родовой строй с присущими ему институтами, сколь бы своеобразными в каждом конкретном случае они ни были. Это обстоятельство делает, как нам кажется, оправданным рассмотрение общества раннего средневековья под указанным углом зрения.

Применительно к собственности в доклассовом обществе приходится в полной мере учитывать ее специфику. Во-первых, как уже говорилось, право собственности здесь — не юридический титул, а выражение тесной связи владельца с предметом владения. В вещи, принадлежащей человеку или группе людей, заключена, по тогдашним представлениям, какая-то частица самих этих людей. В подобном отношении отражается общее сознание нерасчлененности мира людей и мира природы. Право собственности в доклассовом обществе не состояло в праве неограниченного обладания и свободного распоряжения. Владение имуществом предполагало его использование, неупотребление воспринималось как нарушение

¹ См. главу II.

права владения. Поэтому право собственности было вместе с тем и обязанностью.

Во-вторых, в доклассовом обществе «распоряжались» собственностью по-особенному. Имущество сплошь и рядом не представляло собой богатства в современном понимании, не было средством накопления и экономического могущества. Наряду с обладанием здесь на первый план как важнейший признак собственности выступает отчуждение. Вся собственность, за исключением самого необходимого для жизни, должна постоянно перемещаться из рук в руки. Богатство выполняло специфическую социальную функцию. Заключается она в том, что отчуждение имущества способствует приобретению и повышению общественного престижа и уважения, и подчас передача собственности могла дать больше влияния, нежели ее сохранение или накопление. В этом отношении чрезвычайно показательна запись беседы европейца с оленеводом-юраком. Иностранец предлагает ему продать оленя. Юрак отказывается. Иностранец говорит: «Но ведь у тебя три тысячи оленей, к чему тебе столько?» Юрак: «Олени бродят, и я гляжу на них. А деньги мне придется спрятать, я не смогу ими любоваться»¹.

В этом обществе существовал сложный и детально разработанный ритуал распоряжения имуществом. Огромная роль, которую у варваров играли отчуждение и обмен, по мнению этнологов, не может быть удовлетворительно объяснена одними экономическими причинами². Постоянное перемещение вещей из рук в руки было средством социального общения между людьми, вступавшими в обмен: в форме обмена вещами (как и брачного обмена женщинами между группами) воплощались, драматизировались и переживались определенные фиксированные общественные отношения. Поэтому обмен вещами сплошь и рядом был нерациональным, если рассматривать его под углом зрения их материальной стоимости. Ценность имел не сам по себе предмет, передававшийся из рук в

¹ F. Steiner. Notes on Comparative Economics. «The British Journal of Sociology», vol. V, No 2, 1954, p. 118.

² См.: M. J. Herskovits. The Economic Life of Primitive Peoples. N. Y. — London, 1940, p. 133; R. Thurnwald. Economics in Primitive Communities. Oxford, 1932, p. 107, 171, 176, 177, 179; B. Malinowski. Argonauts of the Western Pacific. London, 1922, p. 516; P. Radin. The World of Primitive Man. N. Y., 1953, p. 118, 126, 130—133.

руки, ее имели те лица, в обладании которых он оказывался, и самый акт передачи ими имущества.

Такого рода обмен был далек от товарного обмена позднейших обществ. Здесь нет товарного фетишизма, заслоняющего прямые отношения между людьми обращением товаров, здесь вещи служат средством социального общения.

Данные о характерных чертах собственности у первобытных народов мы привели в связи с тем, что хотели бы обратить особое внимание на древнегерманский институт дарений. Как известно, дарения и сходные формы передачи имущества играли огромную роль в развитии раннефеодальных отношений в Европе. Исследователи рассматривают их как акты, наполненные определенным социальным содержанием, как формы перехода собственности из рук мелких владельцев в руки земельных магнатов и господ, в особенности же — как средство обогащения церкви за счет мирян и превращения ее в крупнейшего земельного собственника. Таким образом, при анализе дарений интерес сосредоточивается на материальной, экономической стороне сделок.

При этом обычно не учитывается, что в средневековом дарении соединились и переплелись два по сути своей различных института: *donatio* римского и церковного права и древнегерманский институт дара, имевший существенные особенности. В то время как римская *donatio* опиралась на понятие частной собственности, подлежащей свободному и окончательному отчуждению, практика обмена подарками у германцев исходила из совершенно иных представлений. Разумеется, это не какой-то специфически германский институт, сходные формы мы обнаружим у самых разных народов на стадии доклассового общества.

Поэтому для лучшего понимания этого института целесообразно остановиться на наблюдениях, сделанных выдающимся французским этнологом и социологом М. Моссом и обобщенных в его «Очерке о даре»¹. Мосс опирается на обширный материал, почерпнутый из исследований культур-антропологов и этнографов, работавших среди аборигенов Америки, Океании и Австралии, и

¹ См.: М. Mauss. Essai sur le don. Forme et raison de l'échange dans les sociétés archaïques. В кн.: М. Mauss. Sociologie et anthropologie. Paris, 1950.

из исторических трудов, посвященных древностям народов Европы и Азии. Он отмечает черту, являющуюся универсальной для всех этих первобытных народов: обмен и договоры у них принимали характер обмена подарками. По форме эти дары были добровольными, по существу же — строго обязательными. Достаточно напомнить о знаменитом потлаче у индейцев тихоокеанского побережья Северной Америки: на празднествах роды и племенные группы обменивались дарами, устраивали пышные угощения и пиры для другой стороны, стараясь во что бы то ни стало превзойти ее своей щедростью и гостеприимством. При этом они не останавливались перед расточением всех своих запасов пищи и богатств, не заботясь о будущем пропитании. Нередко это состязание в расточительстве и пренебрежении к богатствам сопровождалось прямым истреблением имущества. Такие же явления можно наблюдать и у других народов на соответствующей ступени развития.

Мосс видит в основе института потлача заботу о поддержании и повышении престижа племени. Дары и угощения могли способствовать установлению дружеских отношений и мира. Но такого рода гостеприимство было недалеко от агрессивности: туземцы подчас вовсе не стремились доставить удовольствие тем, кого они одаривали и угощали, — напротив, они всеми возможными средствами старались их унижить, подавить своей щедростью. Угощение было сопряжено здесь с соперничеством и легко могло перейти в открытую борьбу. Потлач и был одной из форм борьбы между вождями. Любопытно и странно для человека нового времени то, что ущерб соперникам стремились причинить таким необычным путем: уничтожая не их пищевые запасы, а отдавая им или истребляя собственное имущество. Существо этого своеобразного состязания составляла идея, что дар, который не возмещен равноценным даром, ставит одаренного в унижительную и опасную для его чести, свободы и самой жизни зависимость от дарителя. Утверждая собственный престиж, добивались победы над соперниками. Это объяснялось тем, что передаваемые вещи не считались инертными и мертвыми: они как бы содержали частицу того, кто их подарил. В результате между дарителем и одаренным устанавливалась тесная связь: на последнего налагались обязательства по отношению к первому.

Таким образом, обмен дарами имел в глазах этих людей магическую силу. Он представлял собой одно из средств социальных связей, наряду с браками, взаимными услугами, жертвоприношениями и культовыми действиями; во всех этих формах также осуществлялся обмен между племенами, семьями и индивидами либо между людьми и божествами. Обмен дарами служил средством поддержания регулярных контактов в обществе между составлявшими его группами. Это общение — путем взаимных визитов и устройства празднеств, неизменно сопровождавшихся дарами и угощениями, — принимало форму института «give and take». Богатство в архаическом обществе не столько имело утилитарное значение, сколько являлось орудием социального престижа. Оно давало прежде всего личную власть и влияние. Вождь не мог продемонстрировать своего богатства, не раздавая его; на тех, кого он одаривал, он посылал «тень своего имени», расширяя тем самым свое могущество. «Настоящие вожди всегда умирали бедными», — говорили индейцы¹. Понятие ценности было проникнуто магически-религиозными и этическими моментами. Экономическая деятельность была обставлена ритуалами и мифами, являлась неразрывной составной частью социального общения.

Имеют ли вышеприведенные наблюдения силу только применительно к племенам, изучаемым этнографией, или же могут быть распространены в какой-то мере и на интересующие нас варварские общества Европы эпохи раннего средневековья? Мосс убежден в последнем. Характерно, что свое исследование он открывает цитатой из «Речей Высокого» — одной из наиболее известных песен древнескандинавского цикла «Старшей Эдды». Действительно, мы читаем здесь: «на дар ждут ответа» (145); и выше:

Не знаю радушных
и щедрых, что стали б
дары отвергать;
ни таких, что, в ответ
на подарок врученный,
подарка б не приняли (39).

¹ Ю. П. Аверкиева. Разложение родовой общины и формирование раннеклассовых отношений в обществе индейцев северо-западного побережья Северной Америки. М., 1961, стр. 128.

И еще:

Надобно в дружбе
верным быть другу,
одарять за подарки (42) ¹.

Такого рода высказывания могли бы быть приняты за общие сентенции и афоризмы «житейской мудрости», каких немало в «Речах Высокого» ² и которые не следует понимать в строго юридическом смысле, если бы не повторение этих же максим уже в качестве правовых норм в норвежских и шведских средневековых областных законах. В норвежском судебнике Гулатинга принцип требования равноценной компенсации за полученный дар сформулирован следующим образом: «Каждый имеет право [отобрать] свой подарок, если он не был возмещен лучшим платежом: дар не считается возмещенным, если за него не дано равного» ³. Понятие «laup», употребляемое в норвежских и шведских законах, в исландских сагах и поэзии, означало «вознаграждение», «возмещение за дар». В формуле, которую должен был произносить отец при «введении в род» своего незаконнорожденного сына (т. е. при наделении его всеми правами наследника и члена семьи), в числе терминов, обозначающих права, приобретаемые этим усыновленным, упомянута пара аллитерированных терминов gjald og gjof ⁴. Дарение и возмещение за него («антидар») мыслятся здесь тесно связанными. Подобные предписания содержатся и в судебныхниках Швеции ⁵. Они находят параллель в лангобардском laupnegild — платеже, возмещавшем полученное дарение (или символическом возмещении).

Здесь нельзя не упомянуть отмеченную лингвистами близость понятий «брать» и «давать» в индоевропейских языках. Слово «do», по наблюдению Э. Бенвенисте, пер-

¹ «Старшая Эдда», под ред. М. И. Стеблин-Каменского. М.—Л., 1963, стр. 19, 28.

² Идея дарения, важности его для социального поведения и благополучия человека проходит красной нитью через «Речи Высокого».

³ Gulathings-Lov, 129. Norges gamle Love, I. Christiania, 1846.

⁴ Gulathings-Lov, 58.

⁵ См.: К. v. Amira. Nordgermanisches Obligationenrecht. I. Bd., Leipzig, 1882, S. 506, ff.; Å. Holmbäck och E. Wessén. Svenska landskapslagar. I. Ser., Häft 3. Stockholm, 1933, S. 173—174; V. Ser., Uppsala, 1946, S. 128, Häft 3.

воначально могло приобретать либо значение «брать», либо значение «давать», в зависимости от грамматической конструкции, в которой оно употреблялось. Этот глагол означает лишь факт взятия, однако синтаксисом определялось, какой именно смысл имеется в виду: «брать» или «давать». Оба понятия были органически между собой связаны. Э. Бенвенисте видит в этой близости полярных значений отражение принципа взаимности, проявлявшегося в обмене дарами, предоставлении гостеприимства, принесении присяг верности и в обмене услугами, и считает приведенный им лингвистический материал иллюстрацией к исследованию М. Мосса¹. Расширяя круг примеров, данных Э. Бенвенисте, мы хотели бы указать на то, что и в древнескандинавском языке понятия «брать» и «давать» могли обозначаться одним глаголом «fá», причем значения и здесь дифференцировались как по контексту, так и грамматически².

Очевидно, мы сталкиваемся здесь с явлением, имевшим широчайшую распространенность у самых различных народов мира на доклассовой или раннеклассовой стадии развития. Обмен дарами, услугами, пирами был существенным аспектом общественных связей в коллективах и социальных образованиях, строившихся на личностной основе.

О том, что правило обязательного возмещения дара действовало на практике и что люди в ряде случаев остерегались принимать безвозмездно чужое имущество, боясь оказаться в зависимости от дарителя, свидетельствуют исландские саги. Знатные лица, переселяясь в Исландию, отказывались принять участки земли от первопоселенцев, не расплатившись с ними. Так, первооткрыватель острова Ингольф Арнарсон предложил своей родственнице Стейнуд Старой одно из принадлежавших ему владений, но она предпочла дать ему за землю дорогой расшитый плащ английского производства и пожелала, чтобы ее приобретение считалось покупкой, — «так ей казалось безопаснее в отношении расторжения [договора]». Многие переселенцы в Исландию предпочитали отнять

¹ См.: *E. Benveniste. Don et échange dans le vocabulaire indoeuropéen.* В кн. *E. Benveniste. Problèmes de linguistique générale.* Paris, 1966, p. 317—326.

² См.: *J. de Vries. Altnordisches etymologisches Wörterbuch.* Leiden, 1957—1961, S. 108.

землю силой, чем получить ее в дар от другого. Показателен мотив, которым руководствовался при этом переселенец Халькель. Прибыв в Исландию, он провел первую зиму у своего родственника Кетильбьярна. Тот предложил ему часть своей земли. «Но Халькелю показалось унижительным брать землю у него», и он вызвал на поединок некоего Грима из-за его владений. Грим принял вызов и пал в единоборстве, а Халькель стал жить в его владении. О случаях насильственного захвата земли в период, когда в Исландии было очень легко приобрести владение у первопоселенцев, «Книга о заселении Исландии» сообщает неоднократно. В то время как Семунд нес огонь вокруг своего владения (таков был способ присвоения земли в период заселения Исландии), Skefíll без его разрешения взял себе часть этой земли, совершив соответствующий обряд, и Семунду пришлось примириться с захватом. Пока Эйрик собирался обойти всю долину, чтобы установить над ней свои права, его опередил Онунд: он послал из лука зажженную стрелу и тем самым присвоил расположенную за рекой землю¹. Исландец Кьяртан Олафссон получил от норвежского конунга Олафа Трюггвасона плащ с его плеча, но спутники Кьяртана «не проявили радости по этому поводу. Они полагали, что Кьяртан таким образом кое в чем признал над собой власть конунга»². После некоторых колебаний Кьяртан принял, по настоянию конунга, крещение, получил от него новое пурпурное одеяние и богато украшенный меч и стал его приближенным.

Вряд ли можно сомневаться в том, что за институтом дарений у скандинавов скрывались по сути дела те же самые представления, что и у туземцев, о которых пишет Мосс. Еще до Мосса датский исследователь В. Гренбек, рассматривая принцип возмещения дара у скандинавов языческой поры, высказал мысль, что, согласно представлениям той эпохи, любой дар налагал на его получателя обязательства по отношению к подарившему. В основе благодарности принявшего дар лежало сознание, что через посредство полученного имущества он мог ока-

¹ Landnámabók Íslands. Einar Arnórsson bjó til prentunar. Reykjavík, 1948, bls. 54, 59, 207, 211.

² «Сага о людях из Лаксдала», гл. 40 («Исландские саги», под ред. М. И. Стеблин-Каменского. М., 1956, стр. 345).

заться неразрывно связанным с дарителем. Но подобная связь не всегда была желательна, она могла быть уни-
зительна для одаренного (что явствует и из приведен-
ного выше материала), ибо в случае если дарение не со-
провождалось компенсацией, получивший его оказывал-
ся во власти давшего¹.

Таким образом, институт дарения, требовавшего ком-
пенсации, и у скандинавов имел как юридическую, так и
социально-этическую сторону, разграничение между ко-
торыми можно проводить лишь условно. Ведь и жертвы
богам приносили, исходя из принципа «do ut des».

Связь между дающим богатство и получающим
его — один из ведущих мотивов поэзии скандинавских
скальдов, воспевавших щедрость конунгов и верность
дружинников, которые служили им за розданное золото,
оружие и другие ценности. Такое пожалование привязы-
вало дружинника к господину нерасторжимыми узами и
налагало на него обязанность соблюдать верность вплоть
до самой смерти.

Жажда серебра, столь сильная у скандинавов эпохи
викингов, будет непонятна, если не принять в расчет их
религиозных верований. Скандинавы познакомились с
драгоценными металлами в то время, когда еще не мог-
ли использовать их в качестве средств обмена: продук-
ты на Севере либо обменивались непосредственно одни
на другие, либо средствами обмена выступали скот, до-
мотканое сукно и другие изделия. Долгое время благо-
родные металлы и монеты применялись у них преиму-
щественно в виде украшений. Но вместе с тем у сканди-
навов складывается взгляд на золото и серебро как на
такой вид богатства, в котором материализуются счастье
и благополучие человека и его семьи, рода. Тот, кто на-
копил много ценных металлов, по их представлениям,
приобрел средство сохранения и приумножения удачи и
счастья. При этом золото и серебро сами по себе, безот-
носительно к тому, в чьих руках они находятся, не со-
держат этих благ: они становятся сопричастными
свойствам человека, который ими владеет, как бы «впи-
тывают» благополучие их обладателя и его предков и
удерживают в себе эти качества.

¹ См.: V. Grönbech. The Culture of the Teutons. Vol. II. London —
Copenhagen, 1931, p. 6, f., 16, f., 54.

Поэтому сподвижники и дружинники знатных людей и вождей домогались от них даров — золотых гривен, наручных и нашейных браслетов, мечей, надеясь получить таким путем частицу удачи и счастья, которыми были «богаты» предводители. Неприкрытая жажда драгоценностей и звонкой монеты, проявляемая окружением знати, не может быть объяснена простой жадностью и стремлением обогатиться: она связана с определенными языческими представлениями. Недаром обладатель подаренных ему ценностей не отчуждал их, не стремился купить на них иные богатства, например землю¹, — он искал вернейшего способа их сохранить². Необычайное обилие кладов с драгоценными металлами, монетами и другими богатствами, найденных на скандинавском Севере и относящихся к периоду раннего средневековья, давно уже поражало историков и археологов. Высказывалось предположение, что население прятало свои богатства в землю, стремясь укрыть их от врага. Шведский ученый С. Булин, который видел в обилии кладов свидетельство развитого денежного обращения на Севере в X—XI вв., даже полагал, что датируемые (при помощи найденных монет) клады особенно часто закапывались в периоды смут и войн³. Это вполне возможно. Остается, однако, неясным: хотели ли владельцы кладов спрятать свои богатства для того, чтобы впоследствии ими воспользоваться, или же они зарывали их навечно?

¹ Трудно согласиться с высказывавшимся в историографии мнением, что захваченные во время походов викингов драгоценные металлы якобы использовались знатью для приобретения земель. Во-первых, как мы далее покажем, деньги находили здесь совершенно иное применение. Во-вторых, земля в скандинавских странах была в тот период далека от превращения в товар, который можно было бы покупать и продавать. См. выше, § 1.

² Королевские подарки иногда передавались, но в известных нам случаях герой, получивший браслет или драгоценности от чужеземного государя, был рад вручить этот дар своему господину или покровителю, которому он был обязан верностью. См. англосаксонский эпос («Beowulf», 2146 ff; «Widsith», 90 ff).

³ См.: S. Bolin. Ur penningens historia. Stockholm, 1962, s. 51, ff. Ф. Веркаутерен с большим основанием полагает, что обилие кладов в бассейне Балтики служит доказательством слабой ориентированности на торговлю экономики стран этого района. См.: F. Vercauteren. Monnaie et circulation monétaire en Belgique et dans le Nord de la France du VI^e au XI^e siècle. «Moneta e scambi nell'alto medioevo». Spoleto, 1961, p. 310.

В первом случае, видимо, укрывали богатство, во втором — нечто иное, то, что могло пригодиться скорее в загробном мире.

Конечно, причины запирывания кладов могли быть разными. Но обратимся к свидетельству «аг. Скаллагрим», отец знаменитого исландского скальда Эгиля, перед смертью утопил в болоте сундук с серебром. Сам Эгиль в конце своей жизни точно так же распорядился двумя сундуками серебра, полученными от английского короля: вместе с двумя рабами он отвез их и зарыл в землю, а рабов умертвил, с тем чтобы никто никогда не мог найти клад¹. В обоих случаях серебро прятали перед смертью. Богатый норвежец Кетильбьярн после переселения в Исландию тоже спрятал в горах свое серебро, умертвив рабов, которые помогли ему при этом. Вождь знаменитых викингов из Йомсборга Буи Толстый, смертельно раненный в морской битве, прыгнул за борт корабля, на который ворвались его враги, и захватил с собой в морскую пучину два ящика с золотом². Согласно легенде, Один повелел, чтобы каждый воин, павший в битве, являлся к нему в Валхаллу вместе с богатством, которое было при нем на погребальном костре или спрятано было им в землю³.

В источниках нет указаний на то, что клады прятали на время и затем выкапывали их. Ни саги, ни рунические надписи об этом не говорят⁴. Есть полное основание утверждать, что, скрывая в земле богатства, скандинавы обычно стремились сохранить их с тем, чтобы взять с собой в загробный мир, подобно тому как при переселении в мир иной им нужны были оружие, предметы обихода, кони, собаки, корабли, слуги, которых зарывали в кур-

¹ См.: «Сага об Эгиле», гл. 58, 85 («Исландские саги», стр. 184, 249—250).

² См.: Jomsvikinga saga, cap. 33, ed. by N. F. Blake. London, 1962, p. 38.

³ См.: Heimskringla. Ynglinga saga, VIII. kap. Bjarni Adalbjarnarson gaf út. Bd. I. Reykjavik, 1941.

⁴ Правда, в истории норвежских королей рассказывается о том, как король Харальд Серый плащ заставил скальда Эйвинда отдать ему большое золотое кольцо, которым владел его отец и которое долго пролежало в земле. Однако остается неизвестным, было ли это сокровище найдено случайно или спрятано в землю и затем вырыто. Здесь же сообщается как о недостойном поступке, что король Харальд и его братья из жадности прятали в земле свои сокровища. Heimskringla. I. Haralds saga grafeldar, I. kap.

ган вместе с покойным вождем или другим знатным человеком. Но благородных металлов в могилу не клали, предназначение их было особое; серебро и золото, спрятанные в землю, навсегда оставались в обладании их владельца и его рода и воплощали в себе их удачу и счастье, личное и семейное благополучие¹.

Таким образом, в течение долгого времени деньги представляли для варваров ценность не как источник богатств, материального благосостояния, а как своего рода «трансцендентные ценности», нематериальные блага. Разумеется, в высшей степени симптоматично, что воплощением таких ценностей сделались именно серебро и золото — материальные ценности тех народов, у которых их позаимствовали варвары. Сами языческие представления, которые оказались у них связаны с благородными металлами, послужили определенным шагом в освоении ими идеи богатства, в приобщении к цивилизации, хорошо знавшей ходовую, земную цену денег. Тем не менее сделанные выше наблюдения помогают понять специфический характер жажды добычи и богатств, которая овладела скандинавами в период экспансии викингов.

Во время нападений на другие страны викинги захватывали значительные богатства. Знать обладала роскошным оружием, украшениями, пышными одеждами, сокровищами, рабами, стадами скота, кораблями. Но что касается накопления богатств и превращения их в средство эксплуатации зависимого населения, то здесь придется сделать существенные оговорки. Богатства, попавшие в руки викингов, широко ими тратились. Имуущество, которым обладала родовая и военная знать, давало ей возможность поддерживать свой социальный престиж на должной высоте. Среди главнейших доблестей знатных людей на одном из первых мест стояли щедрость и гостеприимство. О знатных и влиятельных людях скандинавские источники неизменно говорят, что они были благородны, богаты, дружелюбны, щедры на угощения, обладали широкой натурой. При этом речь идет не толь-

¹ Вспомним о наследственных сокровищах Нифлунгов, утопленных в Рейне. «Гренландская песнь об Атли», 26—27 («Старшая Эдда», стр. 139—140). У викингов был обычай запирывания близ своих усадеб кладов, состоявших из мелких золотых пластинок, по видимому, посвященных богу Фрею.

ко о каких-то врожденных качествах знати (они предполагались), но об обязательном для ее представителей образе жизни, о линии поведения, уклонение от которой погубило бы их репутацию и авторитет¹. Понятия «vin-saell» (счастливый в друзьях, любимый многими) и «vingjöf» (дружеский дар) широко распространены в сагах. Выражение «leysa menn ut med gjöfum» (отпускать гостей с подарками) было в сагах своего рода terminus technicus. В годы правления щедрого на пиры и угощения, удачливого конунга в стране, естественно, царил мир, родился скот, земля приносила хорошие урожаи, в море ловилась рыба. Такого конунга называли ág-saell — благополучный для урожая, благоприятствующий изобилию².

Знатный человек должен был устраивать богатые пиры, делать подарки всем приглашенным. Память о щедрых предводителях передавалась из поколения в поколение. В «Книге о заселении Исландии» рассказывается о сыновьях знатного человека Хьяльти: они являлись на тинг в таких одеждах, что «люди думали, что это пришли Асы» (языческие боги скандинавов). На поминки отца они созвали всех хавдингов Исландии и других людей, всего числом 12 сотен (т. е. 1440 человек, ибо скандинавы считали на «большие сотни» по 120), «и все выдающиеся люди ушли с пира с подарками»³. То была самая большая тризна в Исландии. Вторая подобная тризна, с приглашением 9 сотен (1080 человек), включая опять-таки всю знать, была устроена сыновьями богатого и знатного Хаскульда, и здесь также «все знатные мужи получили подарки»⁴. Даже в голодные неурожайные годы, когда не хватало зерна, норвежские предводители продолжали пировать и по-прежнему содержали множество слуг, чтобы не ударить лицом в грязь и не допустить умаления своей славы и влияния. Ценою больших затрат и даже идя на риск осложнения своих отношений с конунгом, они добывали зерно и солод, необходимые для устройства пышных пиров. Например, знат-

¹ См. главу II.

² Heimskringla. Ynglinga saga, IX, X, XI, kap.

³ Landnámabók Islands, bls. 214, 215.

⁴ «Сага о людях из Лаксдаля», гл. 27 («Исландские саги», стр. 310—311).

ный норвежец Асбьярн Сигурдарсон имел обыкновение, как и его отец, устраивать ежегодно по три пира для большого числа приглашенных и даже в неурожайные годы не желал отступать от этого правила. Он не остановился перед нарушением запрета, наложенного королем на вывоз зерна, солода и муки из богатых хлебом областей Норвегии в терпящие нужду районы. В «Хеймскрингле» говорится, что обычай устраивать три пира в год восходил к языческому времени, но был сохранен Сигурдом и Асбьярном и после принятия ими христианства¹. Таким образом, совершенно отчетливо видна связь обычая устраивать пиры с языческой верой: на пирах поднимали кубки в честь Тора, употребляли конину, произносили клятвы.

Обладание богатством представляло для родовой знати прежде всего средство поддержания и расширения своего влияния в обществе. Пир, празднество, на значение которого в общественной жизни архаического общества указывают Мосс и другие этнологи, играл, как видим, огромную роль и в жизни средневековых скандинавов. Показательно, что намного позднее, после принятия норвежцами христианства, когда языческие пиры были строжайше запрещены, в «Законы Гулатинга» было внесено постановление: все бонды обязаны устраивать ежегодные пиры и выставлять каждый от своего хозяйства определенное количество солода; только наиболее бедные люди могли уклониться от участия в этих совместных возлияниях пива, остальным же за отказ грозили штраф и даже конфискация имущества. Отличие от языческого пира заключалось лишь в том, что вместо возлияний в честь Асов теперь поднимали кубки с посвящением Христу и деве Марии; выражение же «для урожая и мира», упоминаемое в этом постановлении «Законов Гулатинга», восходило ко времени язычества². Если применительно к скандинавам и невозможно говорить о чем-либо, подобном потлачу, то щедрые раздачи подарков или обмен ими, а также самовосхваления на пирах были обычным явлением. Близость пира и обмена дарами — несомненна³.

¹ Heimskringla. Óláfs saga helga, CXVII. kap. Reykjavik, 1945.

² Gulathinga-Lov, 6, 7.

³ Ср. нем. *schenken* и *einschenken*. *J. Grimm*. Über schenken und geben. В кн.: *J. Grimm*. Kleine Schriften. 2. Bd., Berlin, 1865.

Вожди постоянно устраивали угощения для своих дружинников и приближенных. Собственно, дружинники конунга, когда они не находились в походе, проводили время в его усадьбе за пирами и застольными беседами. Так было и у германцев времен Тацита, и у скандинавов эпохи викингов, и много позже. Пиршественная горница была центром дома знатного человека. Пир и тинг — важнейшие узлы социальной жизни германской знати, из которых первый едва ли не был главным. Особое значение пира в жизни скандинавов подчеркивается и в постановлении «Законов Фростатинга», гласящем: «В трех местах — в церкви, на тинге и на пиру — все люди одинаково должны пользоваться неприкосновенностью»¹. Пир оказывается здесь в одном ряду с двумя другими важнейшими центрами социального общения, причем с такими, как церковь — место общения с богом и тинг — орган поддержания правопорядка и осуществления правосудия.

Подданные со своей стороны приглашали покровителей и вождей на пиры, одаривали их, рассчитывая на поддержку и возвратные дары. Более того, основной формой общения между правителем и подвластным ему населением были поездки вождя по стране и посещение пиров, которые должны были устраивать сообща все бонды в его честь. Как уже отмечалось, кормления-вейцлы в раннее средневековье служили основным источником доходов конунгов, а затем стали использоваться и для содержания их приближенных и служилых людей, которым они жаловали право сбора продуктов и даней; добровольные угощения и приношения превращались в подати и ренты. На связь института вейцлы с обычаем отвечать дарением на подарок или угощение указывает, по нашему мнению, термин *dreskulaun* (от *dreska*, «пить», «устроить пир», и *laupa*, «вознаграждать», «возмещать»), употребляемый в «Законах Гулатинга»²: так обозначалось земельное дарение, пожалованное королем за устроенный в его честь пир; *dreskulaun* приравнивался к другим видам неотчуждаемой земельной собственности, в частности к *heidlaun* — также пожалованию со стороны вождя. Вейцла стала со временем одним из важней-

¹ Frostathings-Lov, IV, 58. Norges gamle Love, I.

² Gulathings-Lov, 270. Этот скандинавский институт в эпоху викингов был перенесен и в Англию.

ших источников развития феодальных отношений на Севере Европы.

Другой формой социальных связей у средневековых скандинавов, в которой опять-таки проявляется принцип «give and take», был распространенный в среде знати обычай *fóstr*, *barnfóstr* — отдачи детей на воспитание менее знатным. При этом между отцом ребенка и воспитателем — *fóstri* (*fóstrfadir*) устанавливалась тесная, квазиродственная связь, включавшая некоторые элементы зависимости и покровительства: тот, кто получал отпрыска знатного рода на воспитание, как бы внутренне приобщался к «удаче» и «счастью» этого рода и мог рассчитывать на его поддержку. В этом отношении интересна исландская «Сага о Хенса-Торире». Торир, быстро разбогатевший, но незнатный человек, просил годи Арнгрима дать ему на воспитание сына, рассчитывая на его дружбу и покровительство; при этом он предложил Арнгриму половину своего имущества¹. Точно так же Торд Годди предложил знатному исландцу Хаскульду взять на воспитание его сына Олафа и за это обещал оставить воспитаннику все имущество после своей смерти. «Положение Торда Годди стало гораздо лучше с тех пор, как Олаф стал жить у него»². Согласно легенде, норвежский конунг Харальд Прекрасноволосый, желая поставить короля англосаксов Этельстана в зависимость от себя, послал ему на воспитание своего сына от рабыни. Исландский историк Снорри Стурлусон при этом замечает: «Люди считали, что унижительно воспитывать чужого ребенка»³. Но принятие ребенка на воспитание могло служить также и средством умиротворения враждующих семей⁴. «Ведь того, кто берет себе чужого ребенка на воспитание, всегда считают менее знатным (*minni madr*), чем тот, чьего ребенка он воспитывает», — с такими словами исландец Олаф предложил своему брату Торлейку взять его сына к себе на воспитание в компенсацию за то, что он получил отцовские сокровища. Торлейк согласился, сказав, «что это почетное предложение, и таким

¹ См.: «Hoensa-Thoris saga». Hrsg. von W. Baetke. «Altnordische Textbibliothek». Neue Fol. 2. Bd. Halle (Saale), 1953, 2, S. 33—34.

² «Сага о людях из Лаксдаля», гл. 16 («Исландские саги», стр. 281—282).

³ Heimskringla. I. Haralds saga ins hárfagra, XXXIX. kap.

⁴ См. «Сага о Ньяле», гл. 94, («Исландские саги», стр. 605).

оно и было»¹. Но в данном случае Олаф, взявший сына Торлейка на воспитание, на самом деле, разумеется, не был менее знатен, чем Торлейк. Как и в вышеприведенном примере с королями Англии и Норвегии, здесь важен был самый акт принятия на воспитание². Процедура усаживания приемного сына на колени унижала того, кто ее производил, по сравнению с отцом этого ребенка.

Политические, социально-этические, экономические моменты тесно переплетались в сознании и практике скандинавов, получая своеобразную религиозно-магическую окраску. Только при учете всех этих сторон можно правильно понять и средневековое общество, и систему господствовавших в нем ценностей и идеалов, и побудительные стимулы общественного поведения тогдашнего человека. За экономическими отношениями здесь всегда можно распознать непосредственные, личные отношения людей. Если можно говорить о форме фетишизации социальных связей в этом обществе, то придется говорить не о «товарном фетишизме», характерном для общества буржуазного, а о религиозно-магической фетишизации реальных человеческих отношений.

Такая фетишизация общественных связей находила свое проявление и в своеобразном понимании отношения между вещью и ее обладателем. На объект владения переходит частица личности его владельца. Известны имена мечей, которые служили скандинавским героям, имена кораблей конунгов и викингов, их коней, в них воплотились определенные качества их хозяев, не всякий мог пользоваться таким оружием или конем, обладавшими магическими свойствами.

Скандинавский материал, на наш взгляд, особенно ясно демонстрирует, сколь необходимо такое историко-социологическое исследование, которое было бы ориентировано на целостный охват общественных явлений. Общеизвестные щедрость и гостеприимство варваров и других народов на стадии доклассового общества, нередко сохраняющиеся и впоследствии,— это не просто факт,

¹ «Сага о людях из Лаксдаля», гл. 27 («Исландские саги», стр. 311).

² Ср. М. О. Косвен. Аталычество. «Советская этнография», 1935, № 2; В. К. Гарданов. «Кормильство» в Древней Руси. «Советская этнография», 1959, № 6.

который достаточно констатировать,— это явление, нуждающееся именно в социологическом объяснении¹.

Постановка, казалось бы, частного вопроса о дарении у скандинавов привела нас к необходимости затронуть многие другие — и очень существенные! — стороны их общественной жизни. Тут и вопрос об отношении к богатству, и проблема личной верности дружинника вождю, и формы кормлений, из которых в процессе складывания классового строя развивались крупное землевладение, с одной стороны, и податная система, с другой. Вместе с тем вопросы, касающиеся собственности и власти, оказались непосредственно сопряженными с вопросами этическими и религиозными.

Анализируя систему общественных связей, историк естественно расчленяет все эти вопросы и подвергает их раздельному исследованию. Однако при этом он не может забывать, каково было в исторической действительности соотношение различных ее сторон, он должен постоянно иметь в виду социальное целое, неразрывную и тесную связь выделенных им аспектов живой реальности, ибо, будучи взяты обособленно, при забвении того социального контекста, из которого их вычленила мысль историка, эти явления будут неверно поняты и, главное, конструируемое из них целое будет весьма мало походить на подлинное общество изучаемой эпохи. Это общество представляло собой системное единство, и, углубляясь даже в мельчайшие детали, исследователю очень важно не потерять сознания социальной целостности, взаимосвязи и взаимодействия ее элементов. Даже в том случае, когда исследователь не преследует цели воспроизведения системного единства — общества в целом, эта мысль не может не присутствовать в его сознании как своего рода «сверхзадача», на которую в конечном счете ориентируется его частное исследование.

Избранный нами аспект рассмотрения скандинавского «дофеодального» общества — обмен дарами — непосредственно ведет нас к проблематике этических ценностей,

¹ Еще раз подчеркнем: параллели между первобытными народами, изучаемыми этнографией, и европейскими народами периода раннего средневековья нельзя вести слишком далеко; последующее развитие Европы, совершавшееся в обстановке взаимодействия между населявшими ее народами и в условиях синтеза с античной цивилизацией, серьезно ослабило архаические черты строя варваров.

общественных идеалов, представлений о мире, присущих людям этого общества. Он вводит нас в круг религиозных верований и социально-психологических установок, возникших у скандинавов в процессе их общественной жизни. Следовательно, это проблема культуры, изучаемая под углом зрения социальных связей, характерных для данного общества.

Пир, празднество, обмен дарами в варварском обществе — неотъемлемая и очень важная составная часть системы общественной коммуникации, средств социального общения. Все эти акты носили подчеркнуто, демонстративно формальный характер, регламентируя поведение человека в обществе. При посредстве этих актов утверждалось и в наглядной форме реализовалось социально-психологическое единство общественных коллективов. Иными словами, исследование института дарений оказывается связанным внутренней логикой с проблемой «индивид и общество»¹.

В отличие от индустриального, буржуазного общества, основанного на обмене товарами, материальными стоимостями, которые ценятся этим обществом как таковые, в обществе доиндустриальном наблюдается широкий обмен личного рода услугами и ценностями, имевшими не только материальную стоимость: взаимными дарами и подношениями, женщинами и воспитанниками, пиршествами и кормлениями, покровительством и службами. Эти явления с наибольшей ясностью вскрываются при изучении первобытных обществ; однако в форме, несколько завуалированной новыми наслоениями, личностная основа социальных связей может быть обнаружена, как мы полагаем, и в обществах более развитых. Эти, по-видимому, универсальные черты социальной действительности мы обнаружим и в феодальных институтах: в отношениях сеньоров и вассалов (где, как уже говорилось, главное состояло в личном покровительстве и службе, верности, пожалование же земли было производным), во всей социальной стратификации (учение о функциональном разделении труда, о делении общества на *oratores*, *bellatores* и *laboratores* и оправдание его религиозной санкцией в интересах господствующего класса)².

¹ См. главу II.

² См. главу III.

ГЛАВА II

ИНДИВИД И ОБЩЕСТВО В РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

§ 1. ОБЫЧАЙ И РИТУАЛ ПО ВАРВАРСКИМ ПРАВДАМ

Наша задача — рассмотреть некоторые черты, характеризующие человеческого индивида в варварском обществе и формы его отношений с обществом. Индивид немыслим вне общества, многие основные черты его сознания и поведения представляют собой общественный продукт, обусловлены системой социальных связей, присущей данному типу общественной структуры. Но из этого еще не следует, что, определив тип структурного целого, выяснив способ производства, систему собственности и строящуюся на ней систему общественных отношений, мы тем самым достаточно полно и глубоко исследовали это общество. Необходимо рассмотреть формы «включения» индивида в социальное целое, отношения между ними. Эта постановка вопроса приведет нас затем к попытке выяснить, в каких формах происходило отражение социальных связей в сознании варваров, каковы были те системы представлений, в которых члены общества осознавали себя как таковые.

Непосредственное отношение человека к земле, в которой он находил прямое продолжение своей собственной природы и к которой он еще не относился лишь как субъект к объекту, внешне ему противостоящему, было функционально связано с его непосредственными отношениями в обществе: с тесными, органическими отношениями с сородичами, соплеменниками, подзащитными,

зависимыми людьми, а позднее — в раннефеодальном и феодальном обществах — также и с личными отношениями господства и подчинения.

Вследствие этого раскрытие отношения индивида и общества приобретает особую значимость.

Исследователь социальной структуры, обходящий эти вопросы, может быть, невольно исходит из одной из двух предпосылок. Первая сводится к тому, что человек всегда, на любой стадии своей истории, «равен самому себе», вследствие чего мы не совершаем ошибки, представляя людей отдаленной от нас эпохи такими же, как и мы, — в том смысле, что личность в любом случае идентична и ее отношения с миром строятся на одних и тех же основаниях. Разве не эта предпосылка, например, лежит в основе мнения о том, что поведение людей эпохи раннего средневековья в той же мере и в такой же форме определялось экономическими соображениями и побуждениями, как и поведение современного «*homo oeconomicus*»? В самом деле, в рассуждениях о том, что крупные землевладельцы той эпохи всегда стремились увеличить размеры феодальной ренты, а зависимое крестьянство с самого начала своего существования как класса боролось за освобождение, нетрудно усмотреть взгляд, согласно которому обладание земельной собственностью имеет лишь экономический смысл, что стремление к свободе имманентно присуще человеку и т. п. Высказывалась даже мысль о том, что если бы не классовая борьба крестьян, сопротивлявшихся эксплуатации, феодалы низвели бы их до положения рабов, превратившись сами в рабовладельцев, — такова якобы была «повседневная угроза», висевшая над средневековым крестьянством¹. Насколько исторически оправдан такой подход, это особый вопрос; в любом случае мы видим здесь проблему, а не аксиому.

Другое, противоположное предположение определяется сознанием коренного отличия людей раннего средневековья от современных. Человек раннего средневековья, согласно такой точке зрения, не был личностью в прямом смысле слова: ее становление начинается — но лишь в ограниченной степени — в рамках средневекового го-

¹ См.: Б. Ф. Поршнев. Феодализм и народные массы. М., 1964, стр. 255.

рода; в эпоху Возрождения человек раскрепощается от всеобъемлющего средневекового конформизма. Что же касается более раннего времени, то перед историками, собственно, не встает вопрос о человеческой личности и они ограничиваются соображениями о силе родовых и семейных коллективных уз и связанной с ними традиции, о застойности и консервативности общества, жившего в рамках натурального хозяйства¹. Но ответ ли это? Правомерно ли представление о полном подчинении индивида коллективу, о растворении его в группе, к которой он принадлежал? Очевидно, этот вопрос нужно исследовать, а не решать априорно.

По-видимому, то обстоятельство, что проблема человеческой личности и ее места в «дофеодальном» и в раннефеодальном обществах не изучается, в немалой мере объясняется трудностями, которые неизбежно встали бы перед такого рода исследованием. Прежде всего, каковы те источники, анализ которых дал бы возможность поставить эти вопросы? Ведь положение человека в обществе, как правило, изучается по литературным памятникам. Но для Европы первых столетий средневековья произведений поэзии, хроник, как и созданий изобразительного искусства, явно недостаточно для того, чтобы получить внятные ответы на эти вопросы.

Другой путь, по-видимому, нужно искать в исследовании памятников массового творчества — в народной поэзии, сказаниях, мифологии, произведениях прикладного искусства. Здесь моменты личного творчества, прошедшие через механизм массового восприятия и воспроизведения, опосредованы коллективным творчеством, как бы деперсонализированы, им придана сила традиции, превратившей их во всеобщую эстетическую ценность.

Изучение подобных произведений можно вести не с целью раскрытия их непосредственного содержания, подчас довольно ограниченного, но с целью анализа их художественной формы, того «языка» искусства, который был заранее задан средой их творцам. Так, в исландской скальдической поэзии постоянно повторяются своего рода метафорические обороты-кеннинги; для современного читателя они лишены всякой образности и могут быть

¹ См. полемику по этому вопросу между автором и Н. П. Соколовым в сб. «Средние века», вып. 31, стр. 70—71, 72—76.

лишь расшифрованы подобно ребусам. В изобразительном искусстве скандинавов той поры неизменно встречаются некоторые основные мотивы «звериного стиля»: сплетающиеся между собой части тел загадочных, гротескных животных, изображаемых столь же «ненатуралистично», как и персонажи скальдических песен. Для скандинавов эпохи викингов кеннинги и детали орнамента образовывали в своей совокупности семантический фонд, из которого поэты и резчики черпали материал для размещения его по строгим законам стихосложения в «сотах» хвалебных песен в честь конунгов или на щитах и оружии, штевнях кораблей и камнях с руническими надписями. Поэзия и искусство скандинавов наполнены символами, выражавшими их идеи о мире и человеке. Творческие возможности мастера ограничивались преимущественно формой: он мог по-своему, в меру собственной изобретательности, варьировать эти символы, пересказывая факты действительности, рассказывая о походах и битвах, о подвигах вождей и их щедрости. Дело в том, что его авторство, по тогдашним представлениям, распространялось лишь на форму, но не на содержание песни¹. Можно предположить, что такое, с современной точки зрения, ограниченное понимание авторства отражало более общие жизненные установки людей эпохи викингов и, в частности, понимание ими возможностей индивидуального поведения, проявления личности, т. е. отношения индивида и социального целого.

Но не одни лишь памятники культуры (в традиционном ее понимании) должны быть исследованы для решения проблемы «индивид и общество». Собственно, в любом историческом источнике при соответствующем к нему подходе мог бы быть найден материал, проливающий свет на эту проблему. Чем шире охват источников, тем более убедительным было бы ее решение.

К категории памятников, в которых в более непосредственной форме запечатлена массовая деятельность, следует в первую очередь отнести варварские Правды западноевропейских народов и племен раннего средневековья. В Правдах в целом фиксируется не законодательная инициатива государей (хотя ее следы в ряде

¹ См. М. И. Стеблин-Каменский. О некоторых особенностях стиля древнеисландских скальдов. «Известия АН СССР. Отделение литературы и языка». т. XVI, вып. 2, 1957.

судебников явственно видны, но именно потому эти следы обычно удается выделить и изучать отдельно от остального содержания Правд), а прежде всего и по преимуществу народный обычай. Его особенностью была чрезвычайная традиционность, неизменяемость; к нормам обычая относились как к нерушимым, подчас сакральным установлениям, которые пользовались тем большим авторитетом, чем древнее они казались. «Старина» обычая придавала ему силу. Разумеется, в действительности обычай не оставался неизменным, с течением времени он трансформировался, но механизм этих изменений был особого рода. До момента записи обычай хранился в памяти соплеменников, знатоков права, излагавших содержание его на народных собраниях и судебных сходках. При этом содержание обычая исподволь обновлялось, отражая перемены в жизни племени, но очень существенно то, что перемены совершались по большей части помимо сознания людей, и в их памяти обычай оставался все тем же. Отношение общества к обычаю было таково, что радикальные изменения в принятой норме не допускались. Да и традиционный образ жизни варваров, менявшийся более на поверхности, чем по существу, исключал какие-либо серьезные сдвиги в праве. Обычное право — право консервативное.

Поскольку обычное право, отражаемое в ранних германских юридических записях, в основном сложилось и функционировало в варварском обществе, естественно, что его нормы были обязательны и общезначимы для всех его членов.

Социальный опыт варваров — по преимуществу коллективный опыт племени. Народное, племенное право устанавливало формы поведения, обязательные для всех соплеменников и воспринимаемые ими как саморазумеющиеся стандарты, уклонение от которых исключалось.

При анализе варварских Правд мы сталкиваемся по преимуществу не с частными моментами, степень распространенности которых никогда не известна историку, а с общепринятыми и повсеместно повторявшимися явлениями. При немалых особенностях отдельных Правд запечатленное в них обычное право имеет общую основу.

Эти черты Правд не могут не привлечь внимания исследователя, занятого поисками памятников, которые дали бы ему возможность поставить проблемы социоло-

гии «дофеодалного» общества.

Содержание германских судебныхников хорошо известно. Оно многократно и детально исследовано историками и юристами, занимавшимися древнегерманским правом и его учреждениями. Н. П. Грацианский, А. И. Неусыхин и их ученики вскрыли важнейшие стороны социальной структуры варварского общества, опираясь в своем анализе опять-таки на материал Правд. Характернейшей особенностью исследования народных судебныхников советскими историками можно считать внимание к динамике социальных изменений, вполне понятное в свете общей проблемы генезиса феодализма, которая стоит в центре внимания марксистской историографии, изучающей эпоху раннего средневековья.

Но, спрашивается, можно ли обнаружить человеческого индивида при анализе таких памятников, как варварские Правды? Нет, конечно. Но можно сделать другое: изучить те нормы, которым следовал человек варварского общества и при посредстве которых он «включался» в общественную структуру. Можно попытаться установить отношение индивида к этим нормам и таким путем подойти к вопросу об отношении его к самому обществу, к вопросу о степени поглощенности индивида коллективом и о возможности проявления личности, обособления индивида в коллективе.

Нижеследующее представляет собой попытку наметить методику такого исследования и показать возможность ее применения к варварским Правдам. Нам хотелось бы указать на новые вопросы, которые, очевидно, можно задать этим источникам в свете интересующей нас проблемы «индивид и общественная структура». Самое же решение этой проблемы возможно, повторяем, лишь на основе исследования многих видов источников.

Какова предполагаемая методика подобного исследования? Необходимо выделить в источниках какие-то объективные моменты, обладающие повторяемостью или объединяющиеся сходством своей природы и общественной роли, ими выполняемой. Только при соблюдении этого методологического требования полученные выводы могли бы иметь научную значимость и доказательную силу. Нам кажется, что варварские Правды представляют исследователям такую возможность, в должной мере еще не оцененную и не использованную. Для того чтобы изу-

читать социальные нормы «дофеодального» общества, нужно выявить и систематизировать все данные о процедурах, ритуалах, формулах, символических действиях, которые применялись в обществе и выражали «узлы» социальных связей, характерных для этого общества. Важно по возможности установить, какую функцию выполняла каждая процедура и все они как система, ибо эти многообразные символические акты, вне сомнения, объективно складывались в относительно связную систему и лишь перед взором современного исследователя выступают в виде разрозненных фрагментов.

Для изучения такой системы нужно было бы подвергнуть детальному анализу каждую из Правд в отдельности. Только затем можно было бы сопоставлять материал разных Правд. Однако прежде чем приступить к подобному углубленному фронтальному исследованию, мы считаем возможным рассмотреть — в сугубо предварительном порядке — сведения о нормах варварского права, почерпнутые из нескольких правовых записей, из Правд разных племен. Допустимость такого общего рассмотрения, на наш взгляд, может быть оправдана тем, что все судебники как определенная разновидность исторических источников обладают общими чертами.

Одной из наиболее примечательных особенностей этих памятников было то, что индивидуальный, субъективный момент нашел в них минимальное выражение. Правды фиксируют обычаи, складывавшиеся поколениями и мало изменявшиеся — во всяком случае под воздействием сознательной инициативы — именно потому, что они были обычаями: в силу традиции эти нормы считались нерушимыми, если не священными¹. Отсюда — неполнота и

¹ При этом нужно, однако, иметь в виду, что самый акт записи обычая, сохранявшегося до того лишь в памяти его знатоков, «законоговорителей», «лагманов» (как их называли в Скандинавии), знаменовал начало процесса обособления обычного права от народа. Ибо до тех пор пока оно опиралось на устную народную традицию, оно могло — при всем пиетете его творцов и носителей перед стариной («пошлиной») — изменяться, исподволь, может быть, бессознательно, отражая наряду со старыми и новые моменты. Фиксация же части обычного права в судебныхниках (полностью обычаи никогда не записывались) придавала ему окончательный, впредь неизменяемый вид. К тому же запись судебныхников почти повсеместно производилась по инициативе королевской власти, к которой со временем переходила и законодательная функция (сначала это были добавления и исправления Правд, а затем и самостоятельные законы).

фрагментарность постановлений Правд, ибо многообразные обычаи не поддаются сплошной фиксации, да в этом и не было необходимости. Отсюда же и противоречивость отдельных положений, которые подчас фиксировались в то время, когда они уже утрачивали свою действенность.

В записях правовых обычаев сконденсирован социальный опыт варварских племен. В традиционной форме норм народного права отливается социальная деятельность, принимавшая характер постоянно воспроизводимых стереотипов поведения, обязательных для всех членов общества. Нововведения выделить в Правдах обычно относительно нетрудно, и можно очертить круг объективных явлений, нашедших в Правдах адекватное, не подвергшееся искажению отражение. Другая очень важная черта записей обычного права, уже упомянутая выше, — это то, что они, не будучи памятниками сложившегося классового общества, закрепляют нормы, общие для всех соплеменников (что вовсе не исключает возможности их социального анализа, выявления тенденций классовой дифференциации, обособления групп, включавшихся затем в классы феодального общества, и т. п.). Наконец, важно подчеркнуть, что Правды содержат нормы и обычаи, имевшие силу для значительной части населения раннесредневековой Европы, ибо историки располагают большим количеством таких записей, и возможно их сравнительное изучение и вычленение в них как общего, так и специфичного, неповторимого.

Мы привыкли подходить к исследованию Правд с определенным кругом вопросов: структура семьи, собственности, личных и имущественных прав представителей разных социальных разрядов населения, изменения в их положении; эти и подобные вопросы связаны с общей проблемой генезиса феодализма. Историки-юристы изучают по Правдам древнегерманское право, характерные для него процессуальные нормы, общие принципы судопроизводства, отдельные правовые институты («правовые древности»). И такой подход, при всей его ограниченности и «юридизме», по-своему правомерен, он помогает уяснить историю права. Помимо этого, знакомство с характерными для варварского общества правовыми процедурами привлекает интерес читателя к древнему быту, нравам, а подобный интерес всегда включается в более широкий интерес к истории.

Все варварские Правды, несмотря на разное время их записи (с конца V в. и вплоть до XII—XIV вв., когда были составлены последние из скандинавских областных судебныхников) и неодинаковые исторические условия, в которых они были произведены (фиксация обычного права у германских народов происходила на разных стадиях их перехода от общинно-родовых отношений к феодальным), представляют собой — в общем и целом — памятники одного рода, с определенными общими чертами. Среди этих присущих им всем признаков нужно выделить один, с точки зрения нашего исследования, решающий, а именно: во всех судебныхниках запечатлелся, *mutatis mutandis*, общий стиль, или одинаковая структура, правового сознания — сознания, глубоко отличного как от римского правосознания, так и от во многом близкого к нему современного правосознания. Менее резкой гранью этот стиль мышления отделен от юридического мышления феодальной эпохи, но тем не менее и здесь можно установить достаточно определенные демаркационные линии. Само собой разумеется, за спецификой правового сознания, раскрывающейся в варварских Правдах, нужно видеть более общие черты мышления, свойственного людям той эпохи.

В самом деле, критерии, на основании которых обширная группа источников выделяется в особую категорию варварских Правд, или записей народного права, это, в первую очередь, не социально-экономические критерии, хотя нередко так представляется. Ведь для того чтобы установить, является ли данный источник памятником права «дофеодального» или раннефеодального общества, надобно сначала изучить его содержание. Да и вообще невозможно было бы утверждать, что все памятники, причисляемые к варварским Правдам, это записи права «дофеодального»: если и не целиком, то определенными своими «пластами» ряд этих источников относится уже к раннефеодальному общественному строю. Тем не менее, если имеется реальный признак, на основании которого тот или иной памятник может быть причислен к записям обычного права, то этот признак следует искать, видимо, в структуре и характере такой записи. Во всех этих записях права мы найдем выраженные с разной степенью определенности некоторые характерные особенности.

Нормы права обычно не выступают в судебныхниках в

виде абстрактных обобщенных постулатов, покрывающих широкую категорию явлений, а представляют собой конкретные юридические казусы, позаимствованные из жизни непосредственно и поэтому применимые лишь в строго аналогичных, вполне сходных случаях. Трудно согласиться с высказывавшейся в литературе мыслью о том, что эти казусы, в силу внесения их в текст судебногоника, как бы возводились в общую норму¹; они именно не возводились в общую норму и оставались частными казусами, вследствие чего к ним прибегали только в тех случаях, когда возникала точно такая же правовая ситуация. В судебныхниках устанавливаются материальные возмещения за каждый отдельный, совершенно конкретно определенный проступок. В отличие от памятников уголовного права более поздних эпох, соответствующие разделы Правд разрастаются в обширные каталоги пеней и штрафов, никак не обобщенных и не подводимых под общую рубрику.

Например, алеманн, которому пробили голову, «так что показался мозг», получал возмещение в 12 солидов. Но если один другому проломит череп так, что из него придется вынимать кость, звук падения которой на щит будет слышен через дорогу, то нужно уплатить 6 солидов². Или: если человеку отрубят ногу, возмещение составит 40 солидов. Если же он может выйти за пределы поселка и дойти до своего поля с помощью костыля, возмещение будет равно только 25 солидам³. Казуистика и наивный формализм варварского права достигают максимума в подобных постановлениях, полных натуралистических подробностей.

¹ См.: Н. П. Грацианский. Из социально-экономической истории западноевропейского средневековья. М., 1960, стр. 73.

² *Pactus legis Alamannorum*. I, § 1, 4, ср. § 5. Ср. *ibid.*, 2, § 1. Ср.: *Lex Sal.*, 17, § 5: «Если какой-либо свободный так ударит свободного, что выступит кровь и оросит землю...». *Lex Rib.*, 2; *Lex Bajuv.*, 4, § 15, 27; 5, § 8. *Pactus legis Alam.*, II, § 7: «Если кто-либо избьет свободную женщину так, что кровь не появится, уплатит 2 солида». См. там же подробную таксацию фран (глаз, ухо, рука, нога и т. д.).

³ *Ibid.*, II, 25. Ср. *Ed. Roth.*, 47; *Lex Rib.*, 68, 1; *Lex Fris.*, 22, 71, 74. Такие же подробные таксации фран содержатся в англосаксонских судебныхниках (*AEthelberht*, 33—72; *Alfred*, 44—77) и в «Саксонской Правде» (XI—XIII).

Но даже и тогда, когда в судебныхниках фиксировалась действительно более или менее обобщенная юридическая максима, она записывалась в специфической, сугубо конкретной, более того — предметно-наглядной форме, с изображением всех второстепенных (с нашей точки зрения!) деталей, вплоть до слов, выражений, жестов, которые должны были сопровождать и составлять соответствующую процедуру.

Ознакомление с многочисленными описаниями судебных и других процедур приводит к предположению, что составители Правд не различали между главным и второстепенным: мельчайшие действия, формулы и выражения фиксируются столь же — и еще более — детально, как и существенная сторона этих актов, то, ради чего они, казалось бы, и совершались. Подобные описания подчас сбивчивы, содержат повторения, но составителям Правд явно важно зафиксировать все эти детали, ничего не упустив. По-видимому, различие между второстепенным и основным проходило для них не там, где его склонны проводить мы. Это смешение может быть понято как свидетельство неразвитости правосознания, юридической «примитивности» народного права. Но такая оценка недостаточна, так как она исходит из совершенно чуждых варварскому обществу критериев и ничего, по существу, не объясняет¹. Очевидно, все подробности имели глубокое символическое значение и были необходимы для осуществления права.

Сплошь и рядом изложение правового обычая в судебныхниках неразличимо сходно с короткой новеллой: перед нами разыгрываются реально изображенные, живые эпизоды из правового быта варваров, весьма напоминающие соответствующие рассказы исландских саг на эти же

¹ Обычное право первобытных народов не отвечает тем требованиям, которые предъявляет к праву сознание цивилизованных народов. Но это «примитивное» право вполне удовлетворяло потребности создавшего его общества и соответствовало сознанию людей, им руководствовавшихся. Разные формы права имеют в основе своей различные формы правосознания и могут быть правильно поняты лишь при рассмотрении их в контексте той социальной системы, в которой они имели силу. Кроме того, эту «примитивность» варварского права вовсе нельзя принимать за простоту и несложность или неразвитость: оно как раз было очень сложно, разветвлено, обладало особой внутренней логикой, и отдельные части его были между собой согласованы.

темы. В одной из областных Правд Швеции («Вестманналаг») читаем: «Жил человек в деревне, имел там землю. И вынужден был человек продать ее и продал четверть деревни при законных свидетелях и в законной форме», и т. д.¹ Или вот как рисуется в «Алеманнской Правде» тяжба между двумя семьями (родами, патронимиями — в источнике употреблен не совсем ясный термин «генеалогия»): «Если возникнет тяжба между двумя генеалогиями о границах их земель и кто-либо скажет: «Вот здесь наша граница», а кто-либо другой, находясь в другом месте, скажет: «А вот здесь наша граница», — тогда в присутствии графа того округа они должны водрузить знак там, где, по мнению тех и других, проходит их граница, и затем они должны обойти кругом спорное пограничное место. После того как они обойдут эту пограничную территорию, они должны вступить на ее середину и в присутствии графа взять из этой земли то, что алеманны называют «кусоч дерна», воткнуть в него древесные ветви, а затем тяжущиеся генеалогии должны поднять эту землю в присутствии графа и передать ее в его руки. Он завертывает дерн в ткань, ставит печать и передает в руки верного человека вплоть до установленного дня судебного заседания. [В суде] происходит судебный поединок между двумя [лицами]. Приступая к поединку, [борющиеся] должны положить эту землю посредине [между собой] и прикоснуться к ней своими мечами, которыми они будут сражаться, затем пусть призовут бога в свидетели того, что он дает победу правому, и пусть начнут поединок. Тот из них, кто одержит победу, пусть и владеет спорным, а проигравший пусть заплатит 12 солидов штрафа за то, что осмелился возражать против права собственности другой [стороны]»².

¹ Västmannalagen, I. BB. 1.

² Leges Alaman., 81. А. И. Неусыхин («К вопросу об эволюции форм семьи и земельного аллода у алеманнов в V—IX вв.». В сб.: «Средние века», вып. VIII, 1956, стр. 57; мы позаимствовали, несколько уточнив, перевод этого титула из указанной статьи) подчеркивает архаичность процедуры и связанных с нею символов, отражающих, по его мнению, сакральный характер древнего обычного права. В «Баварской Правде» (XVI, 17) дана та же процедура, но отдельные ее элементы выступают в ее описании в ослабленной форме. А. И. Неусыхин (там же) видит в ней «отголосок той седой старины, обычаи которой так подробно расписаны в главе 81 Алеманнской правды».

Такая конкретность и наглядность изложения материала в *Правдах* может быть расценена как свидетельство нерасчлененности правовых максим и художественного жанра; но самая эта неотдифференцированность разных отраслей духовного творчества варваров, несомненно, отражает особенности их мышления, склонного к конкретному, а не к абстрактному, к чувственно-осязаемому, а не к обобщенно-типизирующему восприятию и воспроизведению действительности. Об этой черте «примитивного» сознания говорит также противоречивость, неустойчивость правовой терминологии народных *Правд*.

«Примитивное» («архаическое», «варварское») сознание ни в коей мере не примитивно, но оно существенно отличается от современного рационалистического сознания иным способом расчленения и организации действительности, способом, вряд ли менее логичным и последовательным, чем наш, и — главное! — вполне соответствовавшим потребностям общества, выработавшего народное право.

Наконец, следует отметить своеобразный формализм варварского права, выражавшийся в крайней приверженности ко всякого рода актам, процедурам и формулам, отступление от которых было равносильно отказу от права, уничтожению самой юридической нормы. Эта черта, присущая не только одному древнегерманскому праву, опять-таки непосредственно связана с особенностями мышления варваров. Некоторые судебные процедуры и обычаи кажутся теперь нелепыми и смешными. В норвежских «Законах Фростатинга», устанавливающих порядок организации посреднического суда, сказано, что члены его, представляющие ту и другую сторону, должны усесться неподалеку одни от других, но если окажется, что они не смогут дотронуться до представителей противоположной стороны рукой, то пусть двигаются вперед в сидячем положении, а если кто-либо из них поднимется на ноги, то суд считается недействительным¹.

К *Правдам* невозможно подходить с критериями и категориями, применяемыми к памятникам феодального и тем более буржуазного общества, и предполагать у варваров столь же разработанные и расчлененные понятия «собственности», «права», «свободы» и т. п., какими поль-

¹ Frostathing-Lov, X, 15.

зуемся мы при изучении этих Правд. Можно пойти дальше и утверждать, что исследователь варварского права сталкивается с особым типом мышления.

Действительно, как мы видели, «казуистичность» Правд, «неумение» их составителей построить общую норму оказываются при более глубоком анализе выражением конкретно-образного мышления. Рассказывая на народной сходке об обычаях отцов и дедов, а затем и фиксируя это право, частично оформляя его в виде Правды, его знатоки и «законоговорители» неизбежно представляли себе в полной конкретной реальности деяния и проступки, подлежащие каре, и все обстоятельства сделок и процедур, которые совершались в определенных случаях жизни. Каждый казус, о котором говорит Правда, как бы «разыгрывался» перед умственным взором «сведущих людей», диктовавших право писцам, а равно и в воображении их слушателей — участников судебных сходок, маллюсов, тингов. Поэтому невозможно было записать обычную норму, которая устанавливала бы, например, наказание за кражу вообще: нужно было представить себе конкретные обстоятельства кражи, реальный объект ее и т. д. В «Салической Правде», одной из наиболее архаичных записей варварского права, нет единого и общего постановления о наказании за кражу имущества; зато во многих титулах со всеми подробностями разбираются случаи кражи свиней, рогатых животных, овец, коз, собак, птиц, пчел, рабов, лодок, дичи, изгороди и т. д. Различаются кражи, совершавшиеся свободными и рабами; предусматриваются случаи, когда крали одно или нескольких животных, учитывая при этом, оставались ли еще другие или нет, и т. п. Детализация шла дальше. Невозможно было, скажем, внести в судебник постановление о краже свиньи: сразу же возникала потребность отметить возраст и пол свиньи, знать, супоросая она или нет, выяснить, откуда ее увели: из стада или из хлева, одну или с поросятами. Точно так же нельзя было ограничиться указанием кары за покражу ястреба: отмечены особо случаи кражи ястреба, сидящего на дереве, ястреба, сидящего на шесте, и кражи ястреба из-под замка. В том же титуле VII упоминаются отдельно кражи петуха, курицы, журавля, домашнего лебедя, гуся, голубя, мелкой птицы, хотя во всех этих случаях штраф был один и тот же — 3 солида.

Вместо нормы, каравшей за словесное оскорбление, упоминали то ругательство, которое действительно было когда-то кем-то произнесено, и возмещение, за него уплаченное. В титуле XXX «Салической Правды» перечислены следующие оскорбления, караемые одинаковым штрафом в 3 солида: «Если кто назовет другого уродом», или «грязным», или «волком», или «зайцем»; такой же штраф полагался в случае ложного обвинения человека в том, что он бросил в сражении свой щит. Недоказанное обвинение в доносах или во лжи каралось уплатою 15 солидов. Если свободную женщину кто-либо («мужчина или женщина») назовет блудницей «и не докажет этого», уплатит 45 солидов. В лангобардском «Эдикте Ротари» (381) читаем: «Если человек назовет другого *arga* (трусом) во гневе и не сможет этого отрицать, но признает, что сказал это во гневе, он должен присягнуть и сказать, что на самом деле не знает за ним трусости, и потом пусть уплатит 12 солидов в возмещение за это оскорбительное слово. Но если он будет упорствовать, пусть докажет это, если может, в поединке или обязательно уплатит возмещение, как сказано выше»¹. По норвежскому праву «полным возмещением» требовалось искупить оскорбление, заключавшееся в том, что один мужчина сравнивал другого с животным женского пола, или в обвинении мужчины в том, что «его употребляли как женщину». Если же его сравнивали с волком или лошастью, требовалось уплатить половинное возмещение². Перечень оскорблений, караемых штрафом, интересен, помимо прочего, еще и как свидетельство о понятиях чести, существовавших в варварском обществе.

Детальность постановлений о карах за членовредительство в *Правдах* подчас порождает предположение о бессистемности и внутренней несогласованности и противоречивости этих титулов. Кажущуюся противоречивость можно обнаружить и в других постановлениях³. Однако,

¹ Die Gesetze der Langobarden. Hrsg. von F. Beyerle. Weimar, 1947, S. 154.

² Frostathings-Lov, X, 35.

³ Cp. Lex Salica, XXIX, 1—2 с Add., 1—5. См. также § 3—8 (о возмещениях за отрубленные пальцы). В Lex Salica, XXXVIII, 3 сказано, что за кражу жеребца со стадом в 12 кобыл полагается штраф в 63 солида, а в § 4 читаем: «Если же стадо будет меньшее, именно до 7 голов, включая и жеребца, присуждается к уплате 63 солидов», т. е. того же самого штрафа.

с точки зрения варваров, здесь была своя логика, и предельная детализация постановлений не порождала и не отражала путаницы в их сознании. Проявляющаяся в них конкретность и предметная образность мышления в одинаковой степени была характерна как для тех, кто хранил в своей памяти постановления обычного права, так и для тех, кто следовал предписаниям судебныхников.

Соответственно, и исследователю Правд приходится проявлять неослабное внимание к каждому постановлению, любому обороту речи, пытаясь восстановить ту картину реальности, которая, очевидно, представлялась уму составителей судебногоника. Выявляя нормы обычного права, за которыми скрывалась социальная действительность, историк должен иметь в виду, что сплошь и рядом (в разных Правдах — по-разному) эти нормы не осознавались варварами в общей и тем более в абстрактной форме. Учитывая, что в любой Правде всегда зафиксирован лишь фрагмент обычного права, но не все оно целиком, приходится задумываться над тем, почему именно данные, а не какие-либо иные стороны социальной жизни требовали записи, с точки зрения составителей судебногоника. Короче говоря, изучение записей народного права предполагает проникновение в «дух» этого права, в самое сознание варваров, и способ, которым записаны Правды, делает такую попытку отчасти возможной. Важнейшим методом исследования является здесь скрупулезный анализ терминологии. Особенно продуктивным он обещает быть в применении к судебникам, записанным на родных для варваров языках. Таковы англосаксонские и скандинавские Правды, в отличие от записанных по-латыни судебныхников континентальных германцев: латынь скрадывала многие оттенки мысли и делала невозможным адекватное и непосредственное выражение понятий, присущих варварскому обществу.

Об образности варварского мышления¹ свидетельствуют также и поговорки, нередко встречающиеся в некоторых записях обычного права и служащие в них в качестве выражений общих норм.

¹ Возможно, эта черта мышления варваров сродни, если не аналогична, отмеченному этнографами чувственно-эмоциональному типу мышления современных «примитивных» народов. Исследователи отмечают вместе с тем точность определений и необычайную подробность в описании аборигенами видов растений и живых существ.

Раскрытие знаковых систем «дофеодального» общества, воплощающихся в варварских Пrawdах, требует от историка самого пристального отношения ко всем содержащимся в них сведениям о процедурах, в которые отливалась социальная жизнь варваров. И действительно, мы сталкиваемся в варварских Пrawdах с обилием всякого рода юридических и иных обрядов и формул. По существу, каждая сделка, всякий важный поступок в жизни, например вызов в суд, передача или раздел имущества, вступление в брак, уплата возмещения, дача свидетельских показаний, очищение от обвинений, требовали особой, раз навсегда установленной и строжайше соблюдаемой процедуры, ибо малейшее ее нарушение или отклонение от нее делали недействительным весь акт. Сама по себе подробность описания в Пrawdах процедур — свидетельство большой важности, которую им придавали. Вспомним хотя бы описания в «Салической Пrawdе» бросания горсти земли человеком, не имеющим средств для уплаты вергельда¹, или обряда отказа от родства при посредстве разбрасывания сломанных ветвей «мерою в локоть»², или порядка уплаты *geirpus'a*³, отпуска на волю рабов и литов «через денарий»⁴, процедуры «аффатомии»: в последнем случае предусматривался целый комплекс символических актов: здесь и вчинение в судебном собрании трех исков тремя людьми (возможно, это были иски символического значения), и бросание в полу стебля, и приглашение в дом гостей, которых в присутствии свидетелей угощали овсянкой, и произнесение клятв, и наличие щита, вообще игравшего важную роль во многих процедурах⁵. В норвежских судебниках со всеми деталями изображены порядок «введения в род» незаконнорожденного сына, передачи земельной собственности, вызова истцом ответчика в суд⁶ и т. п. Вот, например, описание устройства третейского суда в норвежских «Законах Гулатинга»: «Участники посреднического суда должны расположиться перед дверью защищающегося, но не позади его дома. Он (истец) должен

¹ Lex Salica, LVIII.

² Lex Salica, LX.

³ Lex Salica, XLIV. Cp. Capitularia, I, 7 (achasius).

⁴ Lex Salica, XXVI.

⁵ Lex Salica, XLVI.

⁶ Gulathings-Lov, 58, 292; Frostathings-Lov, IX, 1.

посадить своих судей на таком расстоянии от дома, чтобы ответчик мог поместить своих судей между дверью и судьями другого человека (истца) и чтобы оставалось достаточно места для проезда повозки с дровами между судьями и дверью...»¹. В ряде Правд приводятся формулы, которые нужно было произносить в публичных собраниях для очищения от обвинений и по другим поводам. Так, при введении в род незаконнорожденного сына отец произносил формулу: «Я ввожу этого человека в права на имущество, которое я ему даю, на деньги и подарки, на сидение и поселение, на возмещение и вергельд и во все личные права, как если бы его мать была куплена за мунд» (т. е. если бы он был законнорожденным)².

Во всех этих случаях (и во множестве других) составители судебныхников придают огромное значение всем мельчайшим деталям; предусмотрены движения, слова и поступки участников процедур, даже их местоположение относительно друг друга, — короче, в записях права с точностью подробного сценария расписаны все действия, необходимые для успешного осуществления каждого из актов, регулировавших различнейшие стороны общественной жизни варваров.

Как выше упоминалось, в записях народного права встречаются упоминания об обычаях, которые уже утратили силу, были заменены новыми постановлениями. Тем не менее память о старинных обычаях бережно сохраняется в Правдах: отмененный на практике обычай сохраняется в памяти. В этом отношении судебники варваров подобны их сказаниям и мифам, повествованиям о древних временах. В неотдифференцированности правового обычая от мифа и от религиозного ритуала состоит еще одна особенность варварских Правд, связанная со спецификой «примитивного» мышления. Но эта неотдифференцированность того, что для нас представляет право, литературу, религию, а для варваров составляло нерасчлененное единство, в свою очередь есть частный случай нерасчлененности мышления и разных сфер социальной деятельности. Производство, семейные отношения, религия, различные формы духовной культуры находились в

¹ Gulathings-Lov, 37.

² Gulathings-Lov, 58.

первоначальном синтезе. Не этим ли нужно объяснять сакральный характер юридических процедур, формул, имущественных, семейных и иных сделок?

В своем беглом обзоре некоторых особенностей варварских Правд мы обращали внимание не на содержание их постановлений, проливающих свет на социально-правовые и экономические отношения в варварском обществе, а преимущественно на «формальные» моменты: «казуистичность» постановлений, крайнюю формализованность правоотношений, роль ритуалов и сакральных формул при осуществлении права, приверженность традиции, «старине». Все процедуры и обряды, формулы, клятвы, а также детализированные представления о преступлениях и пенях-возмещениях, сведения о которых дошли к нам подчас в виде бессистемных и несвязных фрагментов, в варварском обществе, несомненно, составляли единство, выполнявшее роль своеобразной устойчивой формы, наполнявшейся каждый раз конкретным социальным содержанием. Указанные специфические черты варварских Правд, обычно оставляемые без внимания при их исследовании, более, нежели что-либо другое, дают возможность проникнуть в систему мышления варваров. Не принимая в полной мере в расчет особенности их духовной структуры, мы лишаемся возможности познать с должной глубиной и социальную структуру варварского общества, ибо мышление — в его исторически конкретном своеобразии — составляет неотъемлемую и важную составную часть общественной структуры.

Вот этот стиль мышления варваров можно обнаружить (нередко под чуждыми ему построениями или позднейшими наслоениями) во всех записях обычного права. Он чрезвычайно устойчив и консервативен. Именно в указанном аспекте варварские Правды нас сейчас и интересуют. «Архаическое» сознание варваров нашло свое выражение не только в Правдах, — мы обнаружим его и в народной поэзии и литературе, и в орнаментальном искусстве раннего средневековья, и во многом другом. Следы этого стиля мышления нетрудно найти и в гораздо более позднее время. Однако судебники должны быть рассмотрены особо, ибо, как уже было отмечено, в них иначе, чем в памятниках литературы и искусства, выступает отношение субъективного и объективного моментов: второй явно преобладает над первым, что делает иссле-

дование записей обычного права особенно перспективным для знакомства с общественным сознанием «дофеодального» общества, следовательно, и для выявления отношения между индивидом и обществом, для характеристики формируемого этим обществом индивида.

Нужно рассмотреть несколько ближе и подробнее упомянутые сейчас особенности варварских Правд как исторических памятников. При этом можно констатировать некоторые общие положения.

Во-первых, варварское право насквозь символично. Его отправление сопровождается применением всякого рода символов. В качестве подобных символов могут употребляться самые разнообразные предметы: щит, ветвь, разламываемая палка, выбиваемый из рук денарий, гривна, кусок дерна, горсть земли, столбы, поддерживающие хозяйское сидение в горнице, боевое оружие, обувь, напитки, пища, кровь, огонь, волосы и многое другое. Необходимо сразу же оговориться, что символ в народном праве — не отвлеченный знак или условность и не простая замена действительного предмета его подобием. Так, передача куска дерна владельцем в руки другого лица означала отчуждение земельного владения. Но дерн не был только знаком владения, это и было самое владение. Показательно, что у многих народов, в том числе у англосаксов и скандинавов, обычай передачи дерна сохранялся даже тогда, когда дарение или продажа земли оформлялись грамотой: последняя рассматривалась как свидетельство о совершении акта, но для реального отчуждения владения нужно было буквально передать его из рук в руки. Норвежский *skeyting* (шведский *skötning*, от *skaut* — «пола») представлял собой обряд бросания в полу земли, собранной «из четырех углов очага, и из-под почетного сидения [хозяина в доме] и с того места, где пахотная земля встречается с лугом и где лесистый холм соприкасается с выгоном. И пусть он (владелец земли) представит тингу свидетелей того, что прах был взят как положено, наряду с другими, которые удостоверяют покупку земли. Затем, если показания этих свидетелей будут сочтены удовлетворительными, участники тинга должны передать ему землю посредством поднятия оружия (*vápnatac*). В каждом случае, когда покупающий и продающий согласны в том, что прах был взят должным образом, сделка считается состоявшейся, а

равно и *skeyting*¹». Дерн играл в сознании и, соответственно, в кругу символов варваров очень большую роль. У скандинавов был распространен языческий обряд очистительного испытания *jardarmenn*: от земли отделяли полоску дерна и поднимали ее так, чтобы концы были прикреплены к земле, а под полосой мог бы пройти человек, подвергавшийся испытанию; он считался очистившимся от обвинения, если дерн на него не обрушивался. Совместное прохождение под дерном и смешивание крови с землей делали людей побратимами.

Земля, дерн и некоторые другие подобные же символы представляли собой часть, идентифицировавшуюся с целым. Другие символы (ветвь и т. п.) были связаны ассоциациями с теми явлениями, которые они символизировали (например, имущество). В любом случае мы имеем здесь дело с особым, отличающимся от современного типом символизации и, следовательно, с иным типом мышления, нуждавшегося в наглядном, чувственно-осязаемом воплощении абстрактных понятий и способного их заменять самыми разнообразными реалиями².

Можно высказать предположение: не была ли связана склонность варварского сознания идентифицировать часть с целым, заменять общее частным и наглядным, с положением личности в «дофеодальном» обществе, а именно — с неотдифференцированностью ее от коллектива, более того, с поглощенностью ее родом, общиной, большой семьей; вследствие этого индивид не мыслил себя отдельно от группы, его личный статус растворялся в статусе группы, к которой он принадлежал (см. ниже).

Эта черта мышления варваров постоянно проявляется в записях обычного права. В высшей степени показательны, что германские термины (частью латинизированные), нередко встречающиеся в латинских текстах Правд, по большей части обозначают правовые символы и процедуры: включение их в судебники диктовалось, по-видимому, как сознанием невозможности адекватно их перевес-

¹ Gulathings-Lov, 292. Процедура *vápnatas* делала утверждаемую при ее посредстве сделку нерушимой.

² С подобным символизмом сталкиваются постоянно и историки древности. Эту черту мышления варвары разделяют со всеми народами, стоящими на доклассовой или на раннеклассовой стадии общественного развития.

ти, так и нуждой дать всем понятное их обозначение¹.

Нормы права обычно связаны с определенными процедурами и как бы воплощаются в них: с действием, жестами, формулой и т. п. Процедура имеет не меньшее значение, чем сама норма. Именно в этом смысле и можно говорить о крайнем формализме или о ритуальности варварского права. Нарушение предписанного ритуала, отход от раз навсегда установленного процедурного шаблона сводит на нет действенность правовой нормы. В абстрактном виде, вне этой процедуры такая правовая норма не мыслится в варварском обществе. Более того, мы испытываем побуждение сказать, что процедура играет даже бóльшую роль, чем сама норма. В самом деле, можно представить себе случай, когда акт установленного ритуала, влекущего определенные правовые последствия, приводит к этим последствиям несмотря на их противозаконность и нарушение нормы, которую акт должен был «оформлять». Именно это наблюдается при анализе титула XXVI «Салической Правды» «О вольноотпущенниках». Речь идет об отпуске на волю чужого лита или раба: злоумышленник освободил «через денарий, в присутствии короля» не принадлежавшего ему зависимого человека. Акт явно незаконный, уличенный преступник карается уплатой большого штрафа и возмещения. Но тем не менее отпущенный им лит или раб не может быть возвращен в свое прежнее состояние, и вопрос о возврате его «законному господину» даже не возникает; возвращаются ему лишь вещи лита и взыскивается возмещение за причиненный ущерб. Очевидно, процедура отпуска, сопровождавшаяся всеми формальностями и произведенная к тому же перед лицом главы племени, не может быть отменена, и ее последствия для статуса отпущенного на волю лита (или раба) неупразднимы², хотя налицо — злостное нарушение права собственности господина на принадлежавшего ему несвободного. Норма нарушена, но восстановить ее в данном случае невозможно, — и не только потому, что в отпуске на волю участвовал сам король, но прежде всего потому, что ритуальное действие

¹ Многие из этих терминов не ясны, не всегда понятна и процедура, ими обозначаемая, или символ, с ними сопряженный.

² Из «Рипуарской Правды» (Lex Rib., LXII, 2) явствует, что отпущенный через денарий раб приобретал вергельд в 200 солидов.

вообще необратимо! Все сделки, заключенные при соблюдении соответствующих норм, считались нерушимыми.

Однако утверждение о том, что процедура важнее нормы, вряд ли было бы точным: предполагается при этом, что норма и процедура представляли собой две различные категории. В действительности же скорее нужно мыслить себе дело так, что юридическая норма не существовала без соответствующего символического сакрального акта, они составляли единство, которое в только что приведенном случае было нарушено. В абстрактном виде, вне этой процедуры, такая правовая норма невозможна в варварском обществе, и несоблюдение процедуры при совершении действий, которые требовали ее применения, каралось¹. Норма и процедура настолько срослись (правильнее сказать: не были расчленены и дифференцированы) в сознании варваров, что в записях обычного права сплошь и рядом излагаются вообще не нормы права, а те поступки и ритуалы, в которых эти нормы реализуются. По-видимому, сакральным характером формальных актов, применявшихся варварами, объясняется то, что каралось не только их нарушение, но и применение их без надобности.

Второе. Процедуры, зафиксированные в Пrawdах, в отличие от материальных сделок, которые они «оформляют», вряд ли могут быть вполне удовлетворительно и правдоподобно объяснены. Разумеется, возможны всяческие попытки их толкования. Так, предполагают, что разламывание и разбрасывание ветвей при отказе от родства было связано с представлением о том, что родственные отношения подобны побегам растения². Высказывалось мнение, что процедура бросания горсти земли символизировала передачу дома тем лицам, в кого не-

¹ Lex Salica, XXXVII, LI, § 1.

² Lex Salica, LX. Однако идет ли здесь речь о ветвях или о палках, остается неясным. Д. Н. Егоров («Сборник законодательных памятников древнего западноевропейского права». Вып. I, Киев, 1906, примеч. 641) видит в *fustes alpinus* «ольховые прутья»; Н. П. Грацианский дает перевод: «ветки мероу в локоть» («Салическая Правда». М., 1950, стр. 56); К. А. Экхард — «ольховые палки» (*Pactus Legis Salicae*. Berlin — Frankfurt. II, 1. 1955, S. 343). Ср. A. Heusler. *Institutionen des deutschen Privatrechts*. Leipzig, 1885, I, S. 76, ff. По Ж. Балону, *fustus alpinus* символизировал «верность роду». J. Balon. *Jus Medii Aevi*. 3. *Traité de Droit Salique*. T. 1. Namur, 1965, p. 557.

платежеспособный преступник бросает прах, собранный в четырех углах его жилища, а прыгание его через изгородь означает отказ от всех прав на усадьбу¹. Но все эти толкования спорны и недоказуемы. Почему при получении согласия на брак с вдовой жених должен предлагать сородичам ее умершего мужа именно три равновесных солида и один денарий и почему эта процедура², как и процедура передачи имущества, должна совершаться в судебном заседании лишь после того как три человека предъявят три иска³? Почему принятие на собрании решения, которое должно было обладать нерушимой силой, выражалось в потрясании всеми его участниками оружием⁴? Почему при ряде процедур было необходимо наличие щита⁵? Почему кредитор, обращающийся за помощью к графу для взыскания долга у человека, упорно отказывающегося его возвратить, должен был держать в руках стебель⁶? Почему передаваемое в другие руки имущество символизировалось опять-таки стеблем, причем владелец бросал его в полу посредника, а тот затем в свою очередь бросал этот стебель в полу наследника? Почему лицо, передававшее имущество, должно было пригласить к себе в дом троих или более гостей и угощать их овсянкой, после чего они считались законными свидетелями, и затем другие три свидетеля были обязаны на публичном собрании рассказать обо всем этом и о том, что гости после угощения «благодарили его за прием»⁷? Можно без конца задавать подобные же вопросы и строить более или менее остроумные и правдоподобные догадки по этому поводу.

¹ Lex Salica, LVIII.

² Lex Salica, XLIV.

³ Существует предположение, что эти три первоначальных процесса были фиктивными, т. е. носили чисто процедурный характер. *G. Waitz. Das alte Recht der salischen Franken*, 1846, S. 145. Г. Бруннер предполагает сакральный характер этой процедуры. См.: *H. Brunner. Deutsche Rechtsgeschichte*. I. Leipzig, 1887, S. 146.

⁴ Обычай потрясания оружием — *vāpnatás*, восходящий еще к тацитовским временам, играл столь большую роль в скандинавских судебных порядках, что в заселенных норманнами областях Англии административные округа получили название *waerpentakes*.

⁵ Существует предположение, что щит был символом «властной судебной защиты». См. примеч. 451 к изданию Д. Н. Егорова *Lex Salica*.

⁶ Lex Salica, L. § 3.

⁷ Lex Salica, XLVI.

Предлагаемые современным человеком объяснения судебных процедур и обычаев, принятых у варваров, неизбежно носят рационалистический характер; самая потребность найти какое-либо их истолкование, основанное на здравом смысле, есть неотъемлемая потребность нашего ума. Но, по-видимому, именно в этом заключено препятствие на пути к такому объяснению. Все упомянутые и многие иные процедуры и обряды, в изобилии упоминаемые в *Правдах*, не возникали на основе рационально-логических связей того типа, которые создает наше мышление. Они органически связаны с сознанием, которое иначе воспринимало и осваивало мир, нежели сознание человека нового времени.

Более продуктивным нам представляется объяснение применявшихся варварами обрядов, которое пытается связать их с сакральными представлениями, приметами, заклинаниями. Такое истолкование процедуры бросания горсти земли в «Салической Правде» дает Э. Гольдман. Опираясь на многочисленные параллели из истории права и быта варварских народов, он обнаруживает внутреннюю связь между отдельными элементами процедуры *chrenecruda*: собиранием праха в четырех углах дома, бросанием горсти земли левой рукой через плечо с порога, принесением сакральной клятвы, повторением обряда сородичами, прыганием через плетень, использованием кола, лишением неплатежеспособного убийцы права на защиту своей личности¹. При таком подходе процедура *chrenecruda* включается в широкий комплекс символических обрядов и языческих представлений, действительно присущих варварам.

Но дело даже не в том, что для нас правовые ритуалы германцев остаются неясными или вовсе необъяснимыми и приходится довольствоваться ссылками на традицию. Нет никакой уверенности в том, что и для самих участников этих актов в них было все вполне понятно и они могли бы раскрыть значение каждого из символов или символических действий. Напротив, возникает предположение, что в таком объяснении они вовсе не нуждались, более того, что такое рациональное объяснение на самом

¹ См.: E. Goldmann. *Chrenecruda. Studien zum Titel 58 der Lex Salica*. «Deutschrechtliche Beiträge». Hrsg. von K. Beyerle. Bd. XIII, Heft I. Heidelberg, 1931.

деле ничего бы им не объяснило. Эффективность нормативных ритуалов не была связана с их понятностью. Принципиально важным было то, что ритуал восходил к незапамятным временам, что им пользовались предки, что он не подлежал никаким переменам. Строжайшее следование всем детальным предписаниям было совершенно обязательным. Малейшее отклонение от стандарта было чревато неудачей, провалом всего акта¹. На этом представлении строилось, в частности, принесение присяги. При разбирательстве судебных дел соприсяжники и поручители должны были рассказать о всех процедурах, которые предшествовали началу процесса (о вызове на суд, об оповещении, об иске в присутствии определенного числа лиц перед домом ответчика и т. п.), и только после этого можно было перейти к следующим актам. Правосудие (правый суд) значило «правильный суд», а таковым считалась лишь та судебная тяжба, которую вели при строжайшем соблюдении всех процедур; в противном случае решение суда не приобрело бы силы.

Позволительно высказать сомнение в том, что цель судебного разбирательства заключалась лишь в установлении истины, т. е. в выяснении подлинных обстоятельств дела и вынесении соответствующего приговора. Функции соприсяжников, по-видимому, состояли прежде всего в оказании поддержки истцу или ответчику, причем эта поддержка обуславливалась не знанием истины и стремлением ее продемонстрировать в судебном собрании, а связями между соприсяжниками и человеком, который их привлекал к участию в тяжбе на своей стороне. Соприсяжниками являлись родственники, друзья или соседи, иными словами, люди, которые, конечно, могли быть осведомлены в обстоятельствах дела, но — главное — люди, связанные с этим человеком и, несомненно, заинтересованные в благоприятном для него исходе тяжбы. Соприсяжники не являлись непременно «свидетелями факта», они были «свидетелями доброй славы» того лица, на

¹ Р. Зом отмечает, что истец проигрывал процесс, если не употреблял требуемых правом выражений и не применял должным образом «судебного языка». Зом прямо связывает Малбергскую глоссу «Салической Правды» с формализмом древнегерманского судебного процесса. См.: *R. Sohm. Die Fränkische Reichs- und Gerichtsverfassung.* Leipzig, 1911, S. 568—569.

чьей стороне выступали в суде¹. Не знание истины, а верность ближнему заставляла этих людей давать показания и приносить клятвы. Целью процесса не было выяснение и доказательство фактов, они казались самоочевидными либо их очевидность проистекала из присяг, очистительных формул, ордалий. Здесь нет суда как инстанции, призванной устанавливать истину, но имеется процесс — совокупность церемоний, совершаемых сторонами. В самом деле, функция суда у варваров состояла прежде всего в организации состязания между тяжущимися и в надзоре за тем, чтобы стороны строго и неуклонно соблюдали все «правила игры». Ведь и выполнение приговора возлагалось не на суд, а на самого истца. Мысль И. Хейзинги относительно того, что у древних народов судебная тяжба в значительной мере представляла соревнование в буквальном смысле слова, дававшее участникам его удовлетворение само по себе, независимо от его исхода, не лишена известных оснований². Любопытно, что у англосаксов члены судебного жюри (12 тэнов), при вынесении приговора оказавшиеся в меньшинстве, должны были уплачивать возмещение тем судьям, которые принадлежали к большинству³.

Своеобразное отношение варваров к истине лучше всего, пожалуй, обнаруживается в постановлении исландского альтинга, которым было введено христианство в Исландии (1000 г.). До этого на острове были как язычники, так и христиане, что грозило раздорами и междоусобицами; норвежский король настаивал на том, чтобы исландцы приняли христианство в качестве единственной религии, и уступка ему в этом вопросе должна была урегулировать отношения между Исландией и Норвегией. Решение альтинга гласило: все должны принять христианскую веру и посещать церкви; публичное принесение жертв языческим богам воспрещалось. Однако к жертвоприношениям в частных домах относились

¹ См.: В. Сергеевич. Лекции и исследования по древней истории русского права. СПб., 1910, стр. 594.

² См.: J. Huizinga. *Homo Ludens. A Study of the Play Element in Culture*. London, 1949, p. 78, ff.

³ III AEthelred, 13, 2: «И тот приговор пусть имеет силу, который тэны единодушно постановили; а если они спорят между собой, то пусть имеет силу тот приговор, за который высказалось восемь из них, а те, которых одолели, уплатят им каждый по 6 полумарок».

терпимо, если их совершали втайне; лишь в случае их раскрытия грозил штраф. Требовалось соблюдение декорума и подчинение правилам общепринятого религиозного поведения; является ли данный человек христианином по своим убеждениям и личным поступкам, о которых публично ничего не было известно, никого не касалось. Главное — соблюдение формы.

Таким образом, формализм и ритуальность варварского права были сопряжены с принудительностью следования всем нормам и предписаниям, отклонение от них было невозможно, оно было бы равносильно отказу от самих правовых норм, воплощавшихся в этих символических актах.

Третье. В той или иной мере нормативные предписания варварского правового обычая распространялись на все стороны жизни членов «дофеодального» общества. Самые различные жизненные отправления могли стать и действительно становились объектом правовой регламентации. Какой бы поступок не нужно было совершить варвару, было заранее известно, как подобает поступить, что сделать, какие слова произнести. В судебныхниках поэтому имеются в виду не одни лишь правонарушения. Варварскими Правдами регламентируются и раздел владения между наследниками, и распределение частей вергельда, полученного за убитого сородича, и порядок освобождения рабов, и формы, в которых производилось отчуждение имущества, и обычаи, связанные с заключением и расторжением брака. Но не в этом заключается особенность варварского права, а в способе регламентации народными судебниками самых различных жизненных отправлений: в них каждый раз дается (либо предполагается) не одна только общая норма или вообще не она, а практическая форма ее реализации — соответствующий акт. Так, например, в норвежских судебныхниках усыновление незаконнорожденного изображается в виде торжественной процедуры «введения в род»: отец должен устроить пир и зарезать трехгодовалого быка, содрать шкуру с правой передней ноги его, изготовить из нее ботинок, который он должен поставить подле большого пивного котла. Затем члены его семьи в определенной последовательности надевают ботинок, а также внебрачный сын, которого вводят в род. После этой процедуры отец произносит формулу, согласно которой вво-

димый в род приобретает все личные и имущественные права, какими пользовались другие дети его отца; формула эта состоит из аллитерированных ритмических фраз и имеет, несомненно, сакральный характер. Во время процедуры «вводимый в род» (*aettleidindr*) держал на коленях малолетних детей своего отца от законного брака¹.

Можно отметить одну черту, общую всем этим ритуальным процедурам, — их публичный характер. Бросание горсти земли производится в присутствии соприсяжников и сородичей, как ближайших, так и более дальних. Отказ от родства или уплата *geirus*'а совершаются в публичном собрании, перед лицом тунгина или центенария. Вызов на суд производится в присутствии свидетелей, с которыми истец приходит к дому ответчика. Присяга в суде — за редкими исключениями — произносилась с участием соприсяжников; «полной присягой» считалась присяга, приносимая 12 человеками, но бывали случаи, когда требовалось принести очистительную клятву вместе с несколькими десятками соприсяжников (до 72). Другие правовые акты также совершаются в публичных местах, при стечении народа или при непосредственном участии членов собрания, группы свидетелей, соприсяжников и т. п. Поэтому в «Законах Гулатинга» сказано: «Передача собственности, произведенная в церкви, в харчевне или на корабле с полным экипажем и настолько длинным, что его называют по числу скамей гребцов, имеет такую же силу, как если бы ее совершили на тинге»². Общее между тингом, церковью, харчевней и кораблем — лишь то, что везде сделка была публичной. Символический акт — всегда общественный акт, коллективное действие, происходящее на глазах у общества. Несомненно, что публичность была неотъемлемой составной частью правового акта, без нее он был немыслим, она придавала ему силу.

В бесписьменном обществе, каким оставалось варварское общество даже и в период записи Правд (не случайно большинство судебных актов было записано по-латыни), соблюдение норм и сделок могло быть гарантировано только в том случае, если они выливались в символические процедуры, в публичные действия, произ-

¹ Gulathings-Lov, 58; Frostathings-Lov, IX, 1.

² Gulathings-Lov, 292.

водившие глубокое впечатление на всех их участников и откладывавшиеся в их памяти. Церемония выполняла здесь ту функцию, которую в более цивилизованном обществе выполняет документ. Но если функция была подобна, то роль, которую играла церемония в жизни варваров, была совершенно особой. В групповом характере акта, производившегося в торжественной обстановке, в особом (подчас священном) месте, наглядно выражалась принадлежность индивида к обществу.

Вряд ли можно сомневаться в том, что значение публичной процедуры заключалось не только в оформлении соответствующего правового акта (сделки, брака, судебной тяжбы, раздела имущества и т. д.), — ее совершение оказывало сильнейшее психологическое воздействие на ее участников. При посредстве торжественных символических актов утверждалось единство коллектива, зримо и наглядно (т. е. именно в форме, наиболее отвечающей сознанию и эмоциональным потребностям варваров) разыгрывалась своего рода ритуальная драма, воспитывавшая и усиливавшая в каждом из ее «актеров» чувство принадлежности к социальному целому.

Выше уже высказывалась мысль, что смысл процедуры не был понятен ее участникам и что они не нуждались в понимании его; главное заключалось в следовании старинной традиции. Но традиция в сознании варваров почти неизбежно принимала сакральный характер. Связь судебных и других правовых актов с языческой религией в ряде случаев отчетливо видна (несмотря на то что записи варварских судебных актов были произведены уже после принятия христианства). Священный характер места судебной ссоры (у скандинавов место судебного собрания находилось, по языческим верованиям, под особой охраной богов, и это представление сохранилось и в христианскую эпоху; правонарушения, совершавшиеся в том месте, где созывался тинг, расценивались как святотатство и карались особенно сурово), принесение присяг и клятв магического содержания, серия обрядов, в которых право и миф сливались воедино, выполнение судебных функций жрецами (гёди в Исландии) — тому подтверждение. Магический характер древних правовых норм частично получил санкцию новой религии: таковы ордалии («божий суд»); вместо клятв на оружии в судеб-

никах упоминаются присяги, приносимые с возложением рук на Библию; договоры заключаются в церкви; при созыве тинга звонят в церковный колокол; наряду с традиционными правовыми санкциями в судебники включаются церковное покаяние и штрафы в пользу духовенства и т. д. Некоторые языческие процедуры были отменены, другие сохранились; таков, например, древний шведский обычай раздела владения при помощи бросания молота (*hammarskipt*), который связывают с ритуальной ролью молота как орудия бога Тора¹. Обычай норвежских бондов ежегодно устраивать пиры, необходимые для обеспечения мира, урожая и благополучия в стране, сохранился и в христианскую эпоху. Каждый домохозяин был обязан приготовить для такого пира определенное количество пива, уклонение от участия в пире каралось как антиобщественный проступок². Принадлежность к коллективу и верность его основополагающим принципам и традициям требовали регулярных наглядно ощутимых доказательств, и участие в судебных сходках, пирах, общих работах, религиозных празднествах было важнейшей частью этого социально-психологического механизма.

Следующая «умиротворительная присяга», применявшаяся исландцами, позволит ближе познакомиться с мышлением варваров, сливавшим воедино право и религию: «Была вражда между Н. Н. и Н. Н., но теперь она улажена и возмещена деньгами так, как оценили оценщики и уплатили те, кто должен был платить, и тинг присудил и получатели получили все сполна в собственные руки, как и должно. Вы оба должны примириться и договориться за питьем и едой, на тинге и в собрании народа, в церкви и в доме конунга и везде, где только происходят сборища, и тогда вы должны быть так умиротворены, как если бы никогда ничего между вами не происходило. Вы должны обмениваться ножами и кусками мяса и всеми вещами, как сородичи, но не как враги». Если же в будущем между ними возникнет ссора: «Это нужно возмещать деньгами, а не кровавить копье. Но тот из вас, кто нарушит заключенный мир и совершит убийство несмотря на

¹ См.: *G. Hafström. Hammarskipt. «Skrifter utgivna av Institutet för landshistorisk forskning»*. Ser. II, 1. Lund, 1951, s. 126, ff.; *S. Piekarczyk. O społeczeństwie i religii w Skandynawii VIII—XI w.* Warszawa, 1963, s. 131.

² *Gulathing-Lov*, 6. См. выше, гл. I, § 2.

принесенные обеты, тот пусть будет волком, гонимым и преследуемым везде, где люди охотятся на волков, христиане посещают церкви, язычники приносят жертвы в капищах, горит огонь, земля плодоносит, младенец зовет мать и мать кормит младенца, дети человеческие зажигают огонь, плывут корабли, блещут щиты, сияет солнце, падает снег, лапы бегают на лыжах, растут сосны, сокол летит весь день и попутный ветер у него под обоими крыльями, небо закругляется, мир заселен, ветер свистит, вода стремится к морю, люди сеют зерно. Он должен сторониться церквей и христиан, домов бога и людей, любого жилища, кроме ада. Теперь возьмитесь за Библию, положите на Библию деньги, которыми Н. Н. платит возмещение за себя и за своих наследников, рожденных и нерожденных, зачатых и незачатых, получивших имя и не получивших. Н. Н. пусть примет присягу, а Н. Н. пусть дает вечную клятву, которая будет прочной, пока земля стоит и люди живут. Теперь Н. Н. и Н. Н. примирились и единодушны, где бы они ни встретились — на земле или на воде, на корабле или на лыжах, на море или верхом на лошади, за рулем или ковшом, на гребной скамье или на палубе, где придется; такие же примиренные во всем в обращении, как отец с сыном или сын с отцом. Теперь сложите вместе свои руки, Н. Н. и Н. Н.: соблюдайте клятвы по воле Христовой и всех людей, которые ныне слушают эту примирительную клятву! Да будет милость божья тому, кто соблюдает клятву, но гнев его над тем, кто нарушает верную клятву!.. Добро вам, примирившиеся! А мы ваши свидетели, кто присутствует!»¹

Ряд выражений в тексте присяги: упоминание конунга, которого не знала Исландия, лаппов-саамов, живших на границах Норвегии, сосен (в Исландии почти не было лесов), то, что занятием людей, наряду с мореходством, считается земледелие, но не упомянуто скотоводство, — свидетельствует о том, что формула эта возникла в Норвегии, откуда попала в Исландию, по-видимому, еще в языческое время. На языческое происхождение клятвы, помимо некоторых конкретных явлений (достижение примирения «за питьем и едой»; обмен ножами и мясом; представление об изгнаннике, поставленном вне закона,

¹ Isländisches Recht. Die Graugans. Weimar, 1937, S. 191—192.

См.: М. И. Стеблин-Каменский. Культура Исландии. Л., 1967, стр. 64.

как о волке; упоминание язычников и их храмов), указывает, как нам кажется, самая ее структура — аллитерированная ритмическая форма, характерная для древней скандинавской литературы. Христианские реалии (церковь, Христос, божьи гнев и благословение и т. п.) — это скорее добавления. В этих закланиях отчетливо проступает представление о магической функции слова. Публичный характер клятвы совершенно очевиден; с ее гласностью и публичностью связана ее сила. Нарушитель ее становится врагом людей и исторгается из самого космоса, он более не человек и обречен на гибель.

Указанные сейчас черты, присущие нормам варварского права, — публичность и всеобъемлющий их характер — заслуживают особого внимания. Общество диктовало каждому своему члену определенную норму поведения. Общеобязательность соблюдения обычного права скреплялась еще и тем, что ответственность за неповиновение ему возлагалась сплошь и рядом не на индивида или не только на него одного. Древнее право имело дело, собственно, не с отдельной личностью, но с группой, к которой это лицо принадлежало: с родом, семьей либо с главой такой группы. В *Правдах* отчасти еще находит отражение принцип групповой ответственности за преступления, совершенные одним человеком. Он ясно выступает в случаях уплаты-получения вергельда, компенсации, шедшей от рода к роду. Наблюдающееся в *Правдах* перемещение тяжести уплаты виры с группы на отдельное лицо было результатом распада рода. Тем не менее принцип ответственности группы за своего члена не был изжит, и если обязанность платить вергельд ложилась на убийцу, то после исчерпания им всех собственных средств она перекладывалась на его сородичей. Кроме того, значительная часть свободного населения (не говоря уже о несвободных, а отчасти и о полусвободных) не несла полной ответственности за свое поведение перед обществом. В Скандинавии таких людей называли *ýtaðar*: к этой категории относили несовершеннолетних, престарелых, больных, бедных, т. е. всех, кто не мог отвечать за себя самостоятельно и состоял под чьим-либо покровительством или нуждался в нем. Строго говоря, только взрослый мужчина, хозяин дома, глава семьи, был полноправным лицом. Он нес ответственность как за себя, так и за всех своих домочадцев и подопечных. Но и

такой человек подчас нуждался в помощи, защите и содействии сородичей.

Человек «дофеодального» общества — человек группы, органического коллектива, в котором он рождался и к которому принадлежал на протяжении всей жизни, и лишь будучи членом этого коллектива, он мог пользоваться правоспособностью. Более того, только в качестве члена группы он был человеком. Глубокий смысл имело убеждение германцев, что человек, нарушивший мир и примирительные клятвы и поставленный вне закона, переставал быть человеческим существом, становился волком, оборотнем.

Система обычного права, опиравшаяся на детально разработанный формализм и всеобъемлющую ритуализацию его норм, представляла своего рода механизм «включения» индивида в общество. Субъектом социальной деятельности здесь перед нами выступает скорее не индивид, а группа, к которой принадлежит индивид, выполняющий предписанные ему традицией функции, следующий категорическим императивам поведения.

§ 2. ЧЕЛОВЕК И СОЦИАЛЬНАЯ ГРУППА В ВАРВАРСКОМ ОБЩЕСТВЕ

Отмечая господство конформизма в варварском обществе, мы вместе с тем должны подчеркнуть, что ни на какой, даже самой примитивной ступени своего существования человек не был просто «головой в стаде» и не обладал «стадным сознанием». Как бы сильно ни был он интегрирован в коллектив, всецелого порабощения традицией и полнейшего его бессилия перед ней никогда не могло быть. Правильнее было бы предположить, что в «примитивном» обществе складывалось своеобразное — и подчас легко нарушавшееся — равновесие между общим, нормативным, обязательным для всех способом поведения и индивидуальным поведением, проявлением личной воли, нередко характеризовавшимся известными отклонениями от нормы. Первое — норма поведения — имело силу этического императива, второе — поведение индивида — было эмпирической реальностью¹. Несомнен-

¹ См.: *B. Malinowski. Crime and Custom in Savage Society.* Paterson, New Jersey, 1959 (1. ed. London, 1926).

но, член варварского общества, как правило, следовал традиции, не размышляя, автоматически подчинялся освященному временем порядку. Для проявления личной инициативы в обществе с неразвитыми социальными отношениями оставалось немного места. Но личность все же имела определенные возможности обнаруживать себя. Вспомним хотя бы слова Тацита о том, что древние германцы выбирали вождей «по доблести» (в отличие от «королей», для которых была обязательна знатность происхождения), по-видимому, за выдающиеся личные качества (разумеется, воинские отличия в первую голову)¹.

А. Допш приводит эти слова Тацита как один из аргументов в пользу существования развитой индивидуальности у германцев. Справедливо протестуя против идущей от Я. Буркхардта теории об отсутствии индивидуальности у человека средних веков, Допш, однако, совершенно стирает грани, отделяющие людей этой эпохи от людей нового времени, — вполне в соответствии со своей концепцией «вотчинного капитализма» в период раннего средневековья. Он пишет о «капиталистическом духе» во Франкском государстве и утверждает, что многие из тех связей, которые ограничивали человека в средние века, возникли лишь после эпохи Каролингов². Допш предполагает, по-видимому, лишь альтернативу: либо полнейший, отрицающий всякую личность конформизм, либо безграничный индивидуализм буржуазного толка. Но подобная постановка вопроса антиисторична. Необходимо выявить реальную меру подчинения индивида коллективу и те возможности проявления им инициативы, которые при этом ему предоставлялись.

В Правдах мы наблюдаем индивида преимущественно в образе преступника, нарушителя нормы. Поэтому совершенно естественно, что в обществе вырабатывался механизм подавления подобных нарушений. Любое отклонение от нормы было равнозначно преступлению и каралось. В судебных актах не раз как бы подчеркивается злой умысел, своеволие лиц, виновных в проступках. Очевидно,

¹ Тацит. Германия, гл. 7.

² См.: А. Dopsch. Wirtschaftsgeist und Individualismus im Frühmittelalter. В кн.: А. Dopsch. Beiträge zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Gesammelte Aufsätze. Zweite Reihe. S. 182, 184, 185.

составители судебныхников не надеются на скорое и безболезненное умиротворение своевольных индивидов. Переселенец в чужую виллу, не получивший согласия на свое проживание в ней у всех местных обитателей, не покидает ее несмотря на трехкратное предупреждение и не хочет «слушаться закона», и лишь граф силой выдворяет его с того места, где он разместился¹. Человек, взявший на себя обязательство, не желает вернуть долг и подвергается насильственной конфискации имущества; этот титул «Салической Правды» не предполагает тяжелого материального положения или несостоятельности должника (как, например, в титуле «О горсти земли»), он говорит именно о нежелании должника выполнить обязательство². В «Законах Гулатинга» подробно изображена тяжба из-за земельного владения, вызванная упорным нежеланием человека, держащего его в своих руках, вернуть землю законному ее собственнику. В одном случае даже предполагается, что захватчик не ищет никаких законных отговорок или юридических уверток (как это было обычно); он прямо заявляет: «Пока я жив, ты эту землю у меня не отнимешь!»³. Своеволие лиц, склонных к нарушению закона и обычных норм, предполагается в судебныхниках очень часто. Особый интерес представляют строжайшие запрещения браков между свободными и зависимыми (литами, рабами), подтверждающие наличие подобной практики⁴. Их трудно было бы объяснить хозяйственным и правовым упадком свободных, решившихся на такой мезальянс: в неравные браки скорее могло выливаться сопротивление обычаю, сковывавшему индивида в проявлении его личных склонностей и чувств. Первой формой обнаружения индивида оказывается его преступное своеволие — преступное с точки зрения общества.

Исследователи отмечали явную несообразность штрафов и возмещений, зафиксированных народными Правдами: за малейший проступок полагается суровое наказание, высокое материальное взыскание. Это противоречие — не кажущееся, ибо сравнение варварского права с

¹ Lex Salica, XLV.

² Lex Salica, L.

³ Gulathings-Lov, 265.

⁴ Lex Salica, XIII, § 7, 8, 9, XXV, § 3, 4, 5, 6; Capit. I, tit. V; Lex Rib., LVIII, § 14—16, 18; Lex Burgund., XXXV, § 2, 3.

правом феодального общества обнаруживает разницу: в период феодализма таких высоких, явно разорительных штрафов не взимали¹. Поэтому возникает потребность как-то объяснить это несоответствие размеров штрафа и платежеспособности преступника в народных судебныхниках. По мнению Н. П. Грацианского, необычайная суровость наказаний, устанавливаемых Пrawdами, была выражением стремления имущих слоев феодализировавшегося общества защитить свою собственность от посягательств бедняков. Следовало бы, на наш взгляд, учесть то, что приверженность к старине вела к сохранению в раннее средневековые традиционных норм права, в том числе и системы наказаний, сложившейся еще в доклассовом обществе, где они падали на род, а не на индивида. Возможно, однако, что штрафы росли и вводились новые возмещения, ранее не существовавшие. Но нельзя всякий раз объяснять эти явления причинами, на которые ссылается Н. П. Грацианский². Все-таки нужно помнить, что варварское право — это не классовое законодательство, оно до конца (т. е. до тех пор, пока производились записи обычного права) сохраняло в той или иной степени общенародный (общеплеменной) характер. Можно привести постановления Правд, которые легче было бы истолковать как выражение стремления защитить слабых и бедных от притеснений со стороны могущественных людей³. Но это не основание видеть в судебныхниках фиксацию воли одних лишь рядовых членов общества в ущерб знати. В крайней суровости и разорительности штрафов и возмещений, характерных для всех записей народного права, по-видимому, можно усмотреть тенденцию подавить своеволие, от кого бы оно ни исходило, восстановить

¹ См.: гл. III, § 1.

² См.: Н. П. Грацианский. Из социально-экономической истории..., стр. 286, след.

³ Таковы, например, предписания, каравшие графов за творимые ими злоупотребления (Lex Salica, LI, § 2), или установление повышенных штрафов за похищение у хозяина всего скота, а не части его. Lex Salica, II, § 7, 14—16, III, § 6, 7; XXXVIII, § 3, 4. См.: А. И. Нечусыхин. Возникновение зависимого крестьянства..., стр. 15, след. В Пrawdах подчеркивается неприкосновенность жилища свободного человека. Нападение на норвежского бонда в его доме, совершенное ярлом, лендрманом и даже конунгом, наталкивалось на вооруженный отпор населения, и это сопротивление считалось законным. Frostathings-Lov, IV, 50—52. Cp. Ine, 6.

нарушенное равновесие между обществом и личностью, заявляющей о себе преступлениями и неуважением старинного права.

Речь идет не о целенаправленной политике законодателя, а о действии механизма «социального контроля», существующего в той или иной форме в любом обществе; этот механизм складывается у варваров скорее стихийно, чем сознательно, как ответ на преступные действия своих лиц.

Одним из критериев классификации преступлений, который отчетливо прослеживается во всем древнегерманском праве, было соответствие или несоответствие поведения индивида понятиям чести. Сами по себе убийство, членовредительство и некоторые иные проступки не считались несовместимыми с нравственными нормами. В обществе, где не существовало публичной защиты жизни и интересов человека и где господствовал принцип самозащиты рода, семьи и отдельного лица, указанные деяния были неизбежны; они рассматривались как преступления, карались вирами, возмещениями, штрафами, но не осуждались как бесчестившие тех, кто их совершил. Было, однако, необходимо, чтобы убийство или ранение не оставались тайными, чтобы они не были совершены таким образом, что попиралось личное достоинство лица, подвергшегося нападению, чтобы нападение не происходило в форме, противоречившей представлениям о личном мужестве и чести. Иначе говоря, преступления также должны были совершаться (если уж нельзя было их избежать, а подчас это было невозможно, опять-таки в силу общепринятого понятия чести рода, семьи и их членов, и тогда бесчестным считалось поведение лица, не прибегавшего к мести) согласно твердо установленным правилам. Наказание, следовательно, зависело не только от размеров нанесенного ущерба, но и от поведения преступника.

В древнегерманском праве существенную роль играло понятие публичности проступка. Законное убийство было деянием, совершенным при свидетелях, при свете дня, требовало проявления личного мужества, не сопровождалось бесчестящими актами. Злостное убийство — это убийство из-за угла, ночью или нападение на безоружного, слабого, убийство многими одного, с надругательством над трупом, преступление, при совершении которого ви-

новый обнаружил трусость. Кроме того, существовало понятие «равной мести»: нельзя было мстить обидчику неумеренно, несообразно размерам причиненного ущерба. Нарушитель этих стандартов преступал моральные нормы, лишался чести и подвергался моральному осуждению, равно как и суровому наказанию. Такого человека называли «подлым негодяем» (*nidingr*), его объявляли «вне закона», лишенным «мира», изгоняли из общества, всякий мог и должен был его убить, он более не считался человеческим существом (выше уже упоминались «оборотни»). Так появлялись преступные «индивидуалисты», люди, порвавшие все социальные связи и поставленные перед необходимостью жить, полагаясь исключительно лишь на свои собственные силы. То, что разрыв отношений с подобным злостным преступником считался в варварском обществе самым страшным наказанием, само по себе символично: человек без сородичей и друзей, не пользующийся никакой поддержкой, уже не человек, он мертв. Но, с другой стороны, в варварском обществе появлялись люди, в силу определенных обстоятельств принужденные порывать все привычные и необходимые для социальной жизни связи, идти на полный разрыв со своей средой и тем самым заявлять о своем своеволии.

Богатый материал по этим вопросам дают исландские родовые саги. Они рисуют стандарты поведения членов варварского общества. Вместе с тем в них можно проследить рост несоответствия реальной жизни традиционным моральным нормам и обычному праву и вызванную этим конфликтом «переоценку ценностей». Вряд ли случайным совпадением явилось то, что первопоселенцем в Исландии был Ингольф Арнарсон, бежавший из Норвегии вследствие объявления его вне закона, что первооткрыватель Гренландии Эйрик Рыжий был убийцей, вынужденным покинуть Исландию. Наиболее предприимчивые и инициативные индивиды в то же время оказывались и нарушителями общепринятых норм.

Народные Правды возникают в тот период развития «традиционного» общества германцев, когда оно переживало состояние дезинтеграции, перестраивалось на новой основе и когда разрушались органические коллективы, посредством которых в него «включался» каждый индивид. Окончательное разрушение рода, распад большой семьи, перестройка общины из земледельческой в сосед-

скую переход от племенного устройства к территориальному — все это показатели далеко зашедшего процесса ослабления тех ячеек, которыми прежде поглощался отдельный человек. Следовательно, не могла не измениться мера обособления индивида в группе. Нужно попытаться как-то установить эту меру и уточнить, в каком именно смысле можно говорить о выделении индивида в рамках целого.

Прежде всего на ум приходит титул «Салической Правды» «О желающем отказаться от родства» — симптом указанного процесса. Вряд ли здесь имеется в виду разрыв индивида со всеми и всякими родственниками: скорее нужно предположить выделение индивидуальной семьи из большой семьи, обусловленное какими-то материальными причинами (например, нежеланием богатого человека поддерживать бессмысленную для него и обременительную связь с бедными родственниками), а может быть, и распрей. Но и разрыв традиционных связей производился в традиционной ритуальной форме (разламывание над головой ольховых палок мерою в локоть и разбрасывание их в четыре стороны), причем опять-таки в публичном собрании и в присутствии тунгина. Отрицание традиции было вместе с тем в определенном смысле и ее подтверждением¹.

Обилие в Пrawdах многочисленных предписаний, устанавливавших кары за различные преступления: членовредительство, убийство, кражу, поджог, грабеж, насилие, похищение свободных людей, потраву, оскорбление и многое другое, не может удивлять, — перед нами судебники, которыми пользовались при разборе дел о правонарушениях, и естественно, что именно эта сторона жизни «дофеодального» общества наиболее полно в них представлена. Конечно, правомерно видеть в некоторых из этих постановлений отражение роста неравенства в обществе, обнищания части его членов и стремления возвышавшейся и богатевшей другой его части поставить свою собственность под защиту закона. Но, может быть, справедливо было бы взглянуть на предписания Правд

¹ Ср. наблюдения М. Блока, касающиеся сходной процедуры *exfestucare*, связанной с расторжением вассального отношения в феодальную эпоху. М. Bloch. *Les formes de la rupture de l'hommage dans l'ancien droit féodal*. В кн.: М. Bloch. *Mélanges historiques*. Т. I, Paris, 1963, p. 189, ss., 193, ss.

о преступлениях и наказаниях еще и с иной точки зрения.

Некоторые проступки, упоминаемые в судебныхниках, можно истолковать как проявление противоречия между индивидуальным поведением и нормами права. Тем самым здесь могло выразиться сопротивление всепоглощающему конформизму «традиционного» общества, объективный, может быть, не во всех случаях осознанный протест, который сам по себе свидетельствовал об ослаблении скреплявших это общество связей.

Сказанное, разумеется, ни в коей мере нельзя истолковывать в том смысле, что мы обнаруживаем в подобных явлениях «раскрепощение личности» и становление автономной человеческой индивидуальности. Не то время, не то общество! Речь идет о переходе от одной общественной системы к другой, следовательно, от одного способа «сочленения» индивидов в общество, характерного для родового строя с его органическими, естественно сложившимися коллективами, к иному способу подчинения человека социальному целому, который станет специфичным для феодального общества. Ибо люди, вышедшие из разрушавшихся родовых групп, включались в новые социальные ячейки — общины, защитные гильдии, соседства, мирки сеньориального господства и т. д.: потребность в защите, помощи и — прибавим — во внутренней социально-психологической интеграции в группу была глубоко присуща человеку раннего средневековья¹.

То, что в Правдах личность заявляет о себе преимущественно преступным своеволием, объясняется, по нашему мнению, не одной лишь спецификой судебныхников; мы допускаем возможность рассмотрения некоторых из этих фактов как свидетельство кризиса «традиционного» общества, когда баланс между нормой и реальностью все чаще нарушался и когда он мог быть восстановлен только насильственным путем, при помощи суровых наказаний. Но и раньше это равновесие не было устойчивым.

Подводя итоги обсуждению вопроса о возникавшем в варварском обществе конфликте между индивидом и социальным целым, нужно еще раз подчеркнуть, что полного подчинения индивида обществу, в смысле его всецелой

¹ См. гл. III, § 1.

поглощенности, никогда не существовало. Однако возможности воздействия личности на коллектив были в варварском обществе крайне ограничены.

Разумеется, приходится постоянно иметь в виду специфику наших источников, в которых социальная действительность могла найти лишь частичное и в немалой мере одностороннее отражение. Всегда остается вопрос: каково было соотношение норм права и реального поведения людей? Может возникнуть сомнение: была ли традиционность их поведения столь же велика, как и традиционность права?

Для того чтобы ответить на такие вопросы, нужны другие источники. В этом смысле совершенно исключительное значение приобретает исследование исландских родовых саг. Записанные позднее, чем Правды, саги тем не менее подобно им рисуют общество «дофеодальное». Но здесь способ его изображения иной; это рассказы о жизни и поступках индивидов, их семей и об отношениях между ними. Поскольку саги не были простым средством развлечения для средневекового исландского общества, но представляли в своеобразной реалистической, наглядной форме эталоны человеческого поведения, принятого в этом обществе, — в них можно найти ответы на поставленные нами вопросы. Такое исследование еще не произведено. Однако одно общее положение можно высказать: индивид в сагах обладает широкой возможностью для проявления своей инициативы, личной воли, в том числе и противозаконной. Вместе с тем большая часть его поступков заранее предопределена системой нравственных норм, условностей, стандартов, нарушение которых было практически невыносимо и решительно осуждалось обществом как аморальное, сурово каралось. Итак, налицо противоречия между правовыми нормами и действительностью. Тем более интересно, что даже нарушение правовых предписаний не было индивидуализировано, оно диктовалось строгими кодексами поведения. В ситуациях, требовавших моральных решений, перед индивидом обычно не вставал вопрос: как поступить? Ответ на создавшуюся ситуацию следовал почти автоматически. Саги являют нам своего рода «сценарии» жизненного поведения членов варварского общества.

* * *

Социальное целое не состоит из отдельных лиц. Общество представляет собой сложную систему групп разного объема, со своими структурными особенностями. Собственно говоря, индивид включается в группу и уже через нее — в общество. Но он входит не в одну только группу. Существует целая сеть и иерархия социальных структур, с которыми индивид находится в определенных отношениях.

Каковы же социальные группы и структуры варварского общества? Выяснение этого вопроса необходимо для понимания отношения между индивидом и обществом.

Мы можем выделить несколько категорий таких групп, различающихся по своей структуре и основе, на которой они функционируют.

Основными микроструктурами варварского общества были семья и другие родственные группы. Как известно, семья в этом обществе имела свои особенности. То была большая семья (домовая община), состоявшая из ближайших сородичей трех поколений, совместно живших и ведших одно хозяйство. В ее оболочке, а отчасти уже и вне ее существовала малая семья, постепенно выделявшаяся из домовой общины, но далеко еще не обособившаяся от нее полностью. Структура семьи-домохозяйства отличалась сложностью и разнородностью состава. В нее входили не одни только ближайшие родственники, происходившие от одного отца; наряду с ними мы найдем в ней и иных сородичей и свойственников, нахлебников и зависимых людей, рабов. В скандинавских памятниках все люди, входившие в домохозяйство, именуются «домочадцами», их число нередко было довольно велико. Естественно, что среди домочадцев не было равенства и роль их в хозяйстве была весьма неодинакова. Элементы отношений эксплуатации можно обнаружить в пределах большой семьи не только в связи с наличием в ней рабов, но и внутри круга родственников. В частности, немалую роль в крупных домохозяйствах играли незаконные дети, рожденные от наложниц и рабынь: не имея почти никаких прав, они использовались в качестве рабочей силы. Всякое сколько-нибудь крепкое хозяйство свободного человека обрастало связанными с ним или зависевшими от него хозяйствами маломощных и нуждавшихся в защите и помощи людей, как свободных, так и несвободных

или полусвободных (вольноотпущенников). В известном смысле семья представляет в миниатюре картину варварского общества.

Семья в любой форме, большая или малая, представляла важнейшую реальную социальную группу, в которую входил индивид. Но наряду с семьей сохранялись и иные группы, строившиеся на родственной основе: пережиточные формы рода, патронимии, союзы, возникавшие вследствие брачных связей. В недрах этих родственных групп и протекала прежде всего жизнедеятельность членов варварского общества. Карнальные связи играли огромную роль в обществе, еще не перестроившемся на классовой основе. Все основные жизненные социальные отправления членов этого общества были связаны с принадлежностью их к кругу родства. Не включенный в родовую группу индивид был попросту немислим.

Наряду с родственными коллективами существовали коллективы, имевшие территориальную основу. К их числу следует причислить общину. «Земледельческая» община, опиравшаяся на коллективное землевладение, трансформировалась в общину соседскую — марку, представлявшую собой совокупность отдельных самостоятельных домохозяйств. Германская община была внутренне противоречивым коллективом с ярко выраженными центробежными тенденциями и антагонизмами. Мелкое производство, цементирувавшее семьи, обособляло их друг от друга. Тем не менее роль общины в социальной структуре была очень значительна. Помимо пользования угодьями соседей-общинников объединяли общие интересы самозащиты и поддержания правопорядка, отправление культа и празднества. К территориальным группам относились также округа управления и суда — сотни, области и т. п.

Члены «дофеодального» общества входили в этнические общности — в племя, союз племен. В этой связи существенно отметить, что даже при переходе к территориальному строю племенная общность не исчезала в течение очень длительного периода. Она сохранялась не только в номенклатуре этнической принадлежности и в топонимике, но и в сознании варваров. Самосознание их в большой мере оставалось племенным. В самом деле, чем вызывалась необходимость фиксации обычного права? К такой фиксации прибегли прежде всего те племена,

которые, завоевав римские провинции, переселились на их территорию. Возможность записи первых германских Правд создало наличие в варварских королевствах грамотных людей из покоренного романизованного населения. По повелению королей они и произвели запись германских народных обычаев. Однако этим обстоятельством объясняется только возможность фиксации обычного права, но не ее причины. Можно, конечно, сослаться на становление королевской власти, обнаруживавшей стремление узурпировать управление и регулирование общественных дел (с записью обычаев делалось невозможным их дальнейшее толкование знатоками права из народа — «законоговорителями», «лагманами»; отныне начиналось «отчуждение» обычного права от народа, его породившего), на усложнение общественной жизни, вызванное как обстоятельствами переселения и завоевания, так и внутренними противоречиями этого общества.

Но следовало бы, очевидно, отметить и другой фактор, который, возможно, был не менее важен: стремление варваров сохранить свою гомогенность перед лицом реальной угрозы поглощения их местным населением бывших римских провинций. Ведь во всех странах Европы, захваченных варварскими племенами и племенными союзами, германцы составляли меньшинство. Как правило, они не жили сплошными массами, обособленно от романизованного населения варварского королевства, а были рассеяны среди него. По-видимому, отсюда стремление противопоставить себя «римлянам», обнаруживающееся в ряде варварских Правд¹. Отсюда же и попытки составить своды германского права как самостоятельного по отношению к римскому праву покоренного населения². Племенное самосознание франков как нельзя лучше раскрывается в I Прологе к «Салической Правде» (VI в.), прославляющем доблести и превосходство «славного народа франков». Запись «Салической Правды» изображается здесь как одно из высших проявлений мудрости франков, стремления их к справедливости и миру. С племенным самосознанием варваров, очевидно, связан и

¹ Lex Salica, XLI, 1: barbarus, quis lege Salico vivit... Cp. Lex Salica, XIV, § 2; XVI, Add. 3; XXXII, Add. 1, 2; XXXIX, § 3; XLI, § 5, 6, 7; XLII, § 4.

² Другим средством противопоставления варваров населению покоренных провинций было арианство, широко распространенное среди варварских племен (прежде всего гóтов).

персональный принцип действия их права: не все жители варварского государства, но лишь члены данного племени подчинялись предписаниям судебного, у каждого племени существовало свое особое право. Этот принцип отступает на задний план в VIII—IX вв. под воздействием католической церкви и законодательства Каролингов (в Англии в конце IX в., при короле Альфреде).

Варвар входил, далее, в политическую общность, в складывавшееся варварское королевство, которое постепенно приобретало признаки государства. Политические объединения варваров на первых порах были весьма непрочными, они и в дальнейшем обнаруживали рыхлость своей структуры. Связи политические, помимо объединений в территориальные округа, о которых говорилось выше, осуществлялись преимущественно между локальными общинами и королем (князем, конунгом) непосредственно или через его служилых людей. Эта форма социальных отношений приобретает огромное значение по мере развития процесса классообразования. Король постепенно превращался в единственный или главенствующий фактор объединения разрозненных, живущих обособленной жизнью общин и тем самым подчинял их себе.

Наконец, социальными группами, в которые включались семьи и роды, были общественные разряды с особыми правовыми статусами: знать, свободные, полусвободные, зависимые. Эти разряды, именуемые в немецкой историко-правовой литературе *Stände*, представляли собой, собственно, не сословия, а особую форму социальной стратификации, не встречающуюся в обществах с иной социальной системой. Основой этих разрядов не было имущественное положение, хотя оно и могло быть с ними определенным образом связано. Знатные, рядовые свободные, полусвободные, рабы различались между собой происхождением и правами, которыми они обладали или которых были лишены. Но эта система статусов дополнялась, а отчасти трансформировалась под влиянием отношений личной службы, зависимости, покровительства, которые начинали развиваться в недрах традиционной структуры варварского общества.

Вокруг короля сплачивалась дружина, состоявшая из выходцев из различных слоев общества, по преимуществу, видимо, незнатных людей, искавших на королев-

ской службе возможности выдвинуться, улучшить свое социальное положение. Дружина становилась важнейшим центром притяжения таких общественных элементов и вместе с тем — средством воздействия королевской власти на всю социальную и политическую структуру.

Один и тот же индивид принадлежал к нескольким общностям, по-разному в них включаясь. Соотношение этих общностей менялось. С одной стороны, наблюдаются исчезновение родов, распад больших семей, трансформация общинных связей, с другой — рост отношений территориально-соседских, отношений господства и подчинения. Отступление на задний план одних форм социальных связей неизбежно влекло за собой интенсификацию и распространение других. Опустевшие «гнезда» социальных связей заполнялись иными, причем новые отношения подчас строились по образцу старых: сеньор заступал место сородича¹. Между разными системами общественных отношений существовала функциональная связь.

Любопытно, что процедуры и символические акты, о которых шла речь выше, в той или иной мере были связаны со всеми видами общественных структур или групп. Поэтому разложение старых групп, характерных еще для общинно-родового строя, не приводило к исчезновению этих актов и ритуальных действий: функционирование новых социальных образований регулировалось, по сути дела, тем же способом, хотя конкретные процедуры могли и изменяться или на смену старым стандартам поведения приходили новые. «Символизирующим» и широко применяющим символы было и феодальное общество, но смысл и понимание символов в нем, очевидно, были иными, чем в обществе варварском. Любой предмет и поступок в феодальном обществе приобретали социальную ценность постольку, поскольку воспринимались как знак, как символ общественных отношений или «иного мира».

«Дофеодальное» общество, не будучи классовым, вместе с тем не характеризовалось и всеобщим равенством. Особенно существенно наличие в нем таких специфических социальных групп, как четко отграниченные один от другого слои знати, рядовых свободных, полусвободных, рабов. Принадлежность к обществу выража-

¹ См. гл. III, § 1.

лась в обладании определенными правами и обязанностями (правами-обязанностями, ибо, как справедливо подчеркивает А. И. Неусыхин, для доклассового общества характерно неразрывное единство прав и обязанностей, их непосредственная связь¹). Различия между представителями общественных слоев были не только, а подчас, может быть, и не столько экономическими, сколько социально-правовыми, связанными с происхождением и статусом лица, точнее, той группы, к которой оно принадлежало. Так, знатный мог быть и не богаче незнатного, но статус их был различен. Это различие в статусе выражалось в вергельдных грациях, сплошь и рядом чрезвычайно резких (упомянем хотя бы огромный разрыв в размерах вергельдов нобилей и свободных у баваров и саксов или деление англосаксонского общества на людей с вергельдами в 200, 600 и 1200 шиллингов), в системе других возмещений и штрафов, охранявших имущественные и личные права лиц разного статуса или налагавшихся на них, в значимости присяги и свидетельства, в иных проявлениях правовых возможностей, в ограничениях браков между представителями разных групп (браки между свободными и несвободными или полусвободными были запрещены повсеместно, у саксов же, по словам хрониста, не допускались и браки между нобилиями и фрилингами²). Различия в происхождении знати, рядовых свободных и зависимых нередко осознавались в «дофеодальном» обществе как сакральные: божественной родословной королей и знатных родов противопоставлялось низменное происхождение остального населения племени. В этом отношении заслуживает внимания осмысление социального строя древней Скандинавии в «Песне о Риге», примыкающей к песням «Старшей Эдды». В ней выражена своеобразная мифологическая социология «дофеодального» общества, объясняющая происхождение знати — ярлов, свободных — кэрлов и рабов в виде восходящей линии творения их божеством Ригом (Одином?)³. Социальные различия выражались

¹ См.: А. И. Неусыхин. Возникновение зависимого крестьянства..., стр. 32, след., 128 и др.

² Высказывание на этот счет Рудольфа Фульдского см. в кн. А. И. Неусыхина «Возникновение зависимого крестьянства...», стр. 171. Однако справедливость этого сообщения хрониста сомнительна.

³ См.: «Старшая Эдда», стр. 159—164.

и во внешних признаках: в одежде и причёске (вспомним сообщения Тацита об одежде германской знати, длинноволосых мальчиков, упоминаемых «Салической Правдой», значение причёски у гóтов), в оружии и в занимаемом на собрании месте.

Социальные градации «дофеодального» общества отчасти уже изучены, показана их связь с процессами, которые трансформировали его и в конце концов привели к смене его обществом раннефеодальным. Хотелось бы лишь указать на ту сторону «дофеодальной» структуры, которая связана с осознанием самими членами общества их статуса и с той ролью, которую играло это сознание в функционировании общества.

Как уже упоминалось, в основе всех судебных кодексов лежал не территориально-государственный принцип, а принцип персонального права: каждого человека судили по «его закону», в зависимости от племенной принадлежности и от личного статуса¹. Строго говоря, социальный статус лица (исключая людей, занимавших пост на службе короля) был не личным, а наследственным и родовым. Быть знатным — нобилем, эделингом, эрлом, хольдом, ярлом, херсиром, конунгом — или рядовым свободным — франком, фрилингом, ариманном, кэрлом, бондом — значило принадлежать к определенному роду, вести свое происхождение от знатных предков, в одном случае, и от незнатных, но свободных — в другом. Права человека устанавливались на основании его происхождения, родословной. Проявляемый варварами напряженный интерес к генеалогиям и родовым связям — не просто естественный интерес к прошлому, он прежде всего имел практическое значение. Знатный человек — знаменитый, именитый, прославленный благодаря своим предкам и сородичам. Следовательно, в основе социального статуса лица лежал родовой статус. Личность и в данном случае не мыслилась обособленно от группы, к которой она органически принадлежала. Разграничение «дофеодального» общества на знать, рядовых свободных и зависимых в известной мере условно, ибо ни в среде знати, ни в среде незнатных на самом деле не

¹ Lex Rib., 31, § 3, 4; 61, § 2. См.: *H. Brunner. Deutsche Rechtsgeschichte. I, S. 260, ff., 281; R. Schröder — E. v. Künßberg. Lehrbuch der deutschen Rechtsgeschichte. 6. Aufl. Berlin und Leipzig, 1929, S. 249, ff.*

было равенства. Были роды более и менее знатные; эти градации, подчас не доступные взору исследователя, были вполне реальны и очевидны для членов общества, в котором существовала детально разработанная шкала благородства и доблести¹. Наличие в каждой из Правд более или менее четкой и единообразной шкалы вергельдов не должно вводить нас в заблуждение. Такое единообразие было скорее нормой, нежели осуществлялось на практике. Хорошо известно, что вира сплошь и рядом устанавливалась в каждом отдельном случае не на основе этой шкалы или не только на ее лишь основе, а с учетом конкретных условий и особенностей положения рода или семьи убитого и ее взаимоотношений с семьей убийцы: у лангобардов — *secundum qualitatem, generositatem, nobilitatem personae, id est in angargatthungi*²; в средневековой Норвегии существовали особые оценщики, определявшие размеры вергельда согласно происхождению лица³; у исландцев величина возмещения устанавливается в ходе переговоров между враждующими семьями и при участии посредников (о чем свидетельствуют и вышеприведенная формула клятвы о соблюдении мира, и исландские родовые саги); у саксов нобиль, виновный в продаже другого нобилля за пределы страны, в случае его возвращения обязан был дать ему компенсацию «в таком размере, который сможет его удовлетворить»⁴. При этом принималось во внимание и положение данного лица в его собственном роде, ибо члены одного рода не были равноценны⁵.

Таким образом, вергельд был скорее показателем индивидуальной оценки социального статуса члена данного

¹ См.: Lex Bajuuv., III 1: «О родах (*genealogiae*), именуемых Huosi, Trozza, Fagana, Naheligga, Annpiona: они — первые после Агилольфингов, как из герцогского рода, двойная им положена честь, а посему взимать им и виру двойную. За Агилольфинга же до герцога взимать виру вчетверо, ибо они — высшие князья между вами... Герцогу же, в силу того что он герцог, воздавать большую честь, нежели прочим родичам его; посему прибавлять третью часть сверх того, что платится за его родичей».

² Ro, § 14, 48, 74, 75, 141, 378.

³ Landslov, IV, 12.

⁴ Lex Saxon., XX.

⁵ У варваров существовали, кроме того, еще и возрастные классы: в зависимости от возраста изменялся размер виры. Так было, например, у гóтов. Lex Wisigothorum Antiqua, VIII, 4, 16.

рода, нежели простым признаком принадлежности к социальному слою в целом (может быть, правильнее было бы сказать, что он был и тем и другим). Вергельд, как и другие возмещения,— не только компенсация за понесенный ущерб: его уплата и получение были теснейшим образом связаны с сознанием социального престижа семьи. Наряду с легко объяснимым стремлением потерпевшей стороны получить максимальное возмещение — как материализованный признак родовитости — мы можем обнаружить в ряде случаев готовность и даже стремление представителей виновной в правонарушении стороны уплатить высокое возмещение. Таков принцип «активной градации» (*Aktivstufung*), выразившийся в том, что размеры пеней устанавливались не по происхождению пострадавшего, а в зависимости от родовитости виновного, вследствие чего знатные лица должны были платить более высокие возмещения за совершенные ими преступления¹. В законе англосаксонского короля Этельреда прямо обосновывался принцип неодинаковости наказаний для лиц разного социального статуса: «И чем могущественнее человек среди мирян или чем выше общественный разряд (*had*), к которому он принадлежит, тем более высокие возмещения должен он платить и тем дороже оплачивать свои проступки, ибо поскольку сильный человек (*maða*) и слабый (*unmaða*) не равны, они не могут нести равные тяготы...»². Нечто подобное наблюдалось у скандинавов, когда незнатные предпочитали уплачивать повышенные возмещения пострадавшим с тем, чтобы доказать свое благородное происхождение³.

¹ *Lex Saxon.*, XXXVI: нобиль за кражу платит 12 солидов, свободный — 6, лит — 4 солида; *Capit. Saxon.*, III: «угодно было всем саксам, чтобы в тех случаях, когда франки должны платить по закону 15 солидов, саксы из рода нобилей платят 12, свободные — 5, литы — 4 солида»; *Capit. de partibus Saxon.*, XIX: за несвоевременное крещение младенца штрафы нобилей 120 солидов, свободного 60 и лита 30 солидов; там же, XX: за нарушение брачных запретов штрафы нобилей 60 солидов, свободных — 30, литов — 15 солидов.

² VI *Aethelred*, 52. Ср. *Alfred*, 18; *Ine*, 51; VII *Aethelred*, 2, § 4.

³ Из грамот Сен-Галленского картулярия явствует, что знатные лица приобретали право выкупа своей земли, подаренной аббатству, за гораздо более высокую плату, чем мелкие собственники, иногда — даже за сумму, равную по величине их вергельду. *K. H. Ganahl. Hufe und Wergeld. «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germanistische Abteilung»*. 53. Bd., 1933.

В возмещениях и пенях, которыми «обменивались» варвары, нужно видеть материальное выражение социальной оценки, даваемой ими самим себе и другим. Самосознание рода или семьи нуждалось в общественном признании. Этот момент необходимо учитывать при объяснении необычайно высоких вергельдов и штрафов, фиксируемых в варварских Пrawdах. В расчет брали не реальную платежеспособность преступника, а статус людей и семей, которых эти возмещения должны были охранять.

Самосознание представителя той или иной семьи опиралось, естественно, не на одно лишь чувство принадлежности к ней и понимание ее знатности, родовитости или полноправия. Самооценка связана и с относительной оценкой, т. е. с оценкой самого себя и своей группы по отношению к другим социальным группам, с осознанием различий между группой «мы» и группами «они», «другие». Социальные группы, не представлявшие разных классов общества и ни в коей мере не совпадавшие с имущественными прослойками (согласно «Фризской Правде», были свободные люди, впадавшие в литскую зависимость от нобилей, свободных и даже от литов) ¹, опирались на ясное осознание разделявшей их социальной дистанции. Только учитывая это обстоятельство, можно правильно понять «военную демократию» варварских племен, не перенося на нее совершенно чуждые тому обществу современные представления о равенстве, демократии и свободе.

Личная свобода, которой обладала основная масса членов «дофеодального» общества, первоначально заключалась в их полноправии. Но вместе с тем это полноправие не содержало представления о неограниченности правовых возможностей носителей свободы. Обладание статусом свободного налагало ограничения — не только в том смысле, что реальным содержанием личной свободы была совокупность определенных прав-обязанностей, но и постольку, поскольку человек данного статуса должен был вести себя соответственно своему статусу и происхождению, и никак иначе. *Noblesse oblige...*

¹ Lex Fris., XI, § 1. См. там же, гл. 1, § 21.

Людам «дофеодалного» общества присуще обостренное чувство социальной дистанции, связанное с постоянной оценкой самих себя относительно других и с оценкой этих других. Понятие знатности, родовитости всегда воспринималось как понятие относительное: А более родовит, чем Б, род В знатнее рода Г, брак между представителями двух семей считается достойным, так как обе семьи одинаково знатны, или, наоборот, брак нежелателен или недопустим, будучи унижительным для одной из сторон в силу ее более высокого происхождения, чем другой. В тех случаях, когда источники достаточно подробны и в особенности когда их терминология отражает богатство понятий, употребляемых в обществе (например, у скандинавов), можно восстановить целую иерархию понятий большей или меньшей родовитости, знатности, отношения к свободе.

В норвежских судебных книгах мы встречаем следующие обозначения знатности: *konungborinn* (из рода конунгов), *lendr madr*, *lendborinn* (рожденный от лендрмана), *haulldr madr* (человек, обладающий правом хольдов, *hallz rett*), *ódalborinn madr* (рожденный с правом одаля), *beztr madr* (лучший человек); обозначения полноправия и свободы: *fullu borinn* (обладающий полноправием от рождения), *thegn*, *frials madr* (свободный), *árborinn*, *aettborinn madr* (родовитый); обозначения неполноправности: *karlmadr*, *reccs thegn*, *dreng madr*; зависимых: *thyborinn madr* (рожденный в рабстве); *leysingi*, *frialsgjafi* (вольноотпущенник), *thyrmslamadr* (состоящий в послушании), *thraell*, *man manna* (раб). Этот перечень терминов, отражавших разные оттенки и градации личных прав, неполон. Помимо них встречаются относительные обозначения статуса — по отношению или по сравнению с другими лицами: *íamborinn* (*íafnbörinn*) *madr* (человек одинакового происхождения), *íamrettesmadr* (обладающий равными правами), *halfrettesmadr* (человек с половинными правами), *betrfedrungr* (человек лучшего статуса, чем его отец). В норвежском праве, кроме того, были такие специфичные обозначения незаконнорожденных, лишенных полноты наследственных прав, как *hrisungr* и *hornungr*. «Законы Фростатинга» разъясняют смысл этих понятий: «Если человек ляжет со свободной женщиной в лесу и сделает ей сына, он будет называться *hrisungr* (сделанный в кустах)... А если человек ляжет со свободной женщиной в

одном из домов в усадьбе и сделает ей сына, то он будет называться hornungr (сделанный в углу)»¹. Все население страны в целом обозначалось выражением thegn og thraell — «свободный и раб». Саги, пожалуй, еще более богаты социальной терминологией.

В варварском сознанию чуждо представление о человеке вообще; не то чтобы такая абстракция была ему недоступна — она не имела реального смысла. Человек — это всегда конкретный представитель определенной социальной группы, общественного статуса, присущего данной группе, и от этого статуса зависит общественная оценка человека. Можно пойти дальше и сказать, что статусом определялись не только его социальный вес (выражаемый в материальных возмещениях, правовых возможностях и других осязаемых признаках), но и моральная оценка. От людей разного статуса ожидали подобающих их статусу поведения, образа мыслей, личных достоинств. Благородство, воинская доблесть, щедрость, мудрость — это признаки родовитого, знатного человека, достойного своих знаменитых предков. Рассчитывать на наличие таких выдающихся качеств у простых людей незнатного рода было труднее, не потому что они были их начисто лишены, но эти качества не составляли их неотъемлемого отличительного признака. Статус, таким образом, был тесно связан и с этической ценностью его носителя. Совершенно несомненно, что наличие подобной моральной оценки человека было немаловажным фактором формирования его личности. Ожидание доблестей и благородства от одних и отсутствие такого рода надежд в отношении других воспитывало соответствующим образом членов разных общественных групп, было стимулом и даже императивом поведения. Человек должен был вести себя соответственно своему статусу, недостойное поведение его воспринималось обществом как нечто неслыханное.

Встречающиеся в источниках обозначения знатных людей, как «лучшие», «добрые», «первейшие» и т. п., содержали в себе, наряду с указанием на могущество и привилегированное положение в обществе, и моральную оценку; точно так же не были лишены и противоположные обозначения: «мелкие люди», «низшие», «неблагород-

¹ Frostathings-Lov, X, 47.

ные», «незначительные»¹. В исландских сагах, в изобилии содержащих характеристики знатных и богатых людей, подобная моральная оценка их является, как правило, сама собою разумеющейся. Хотя в действительности общество уже делится на богатых и бедных, в сагах зажиточность не рассматривается в качестве определяющего признака для отнесения человека к той или иной социальной группе: такие критерии следует искать скорее в «могуществе» «больших», «сильных» людей и в «незначительности» «маленьких» людей. Могущественный человек благороден, богат друзьями, гостеприимен, смел, доблестен. Человек же незнатного происхождения редко мог сравниться со знатым не только своими богатствами, но и личными качествами. Дети знатных мужей, рожденные от вольноотпущенниц и рабынь, уступают в моральном отношении своим братьям, матери которых были свободны. Никто не предполагает, что они могут обладать теми же доблестями, что и их благородные сородичи. Исландские источники — саги, записи обычного права — обнаруживают богатую гамму определений знатности и свободы. Сознание социальной дистанции столь развито, что она могла существовать даже в пределах одного рода и одной семьи: сын мог приобрести большую родовитость, чем его отец, и, наоборот, социальный статус потомка мог понизиться.

Повышенное внимание к установлению и соблюдению социальной дистанции отчетливо проявляется во всех народных Правдах в многочисленных и детализированных титулах о вергельдах, возмещениях и всякого рода правах представителей разных слоев общества. Подобные градации имеют для них исключительно важное значение. Ведь при их помощи определялось положение в обществе каждой семьи, любого индивида. Человек без статуса совершенно немислим в «дофеодалном» обществе, во всех случаях, когда статус неясен или неизвестен, его спешат установить, — идет ли речь о живом или мертвом человеке, об отце незаконнорожденного ребенка или об иноплеменнике. Тяжелейшими наказаниями в таком обществе были лишение статуса, т. е. лишение свободного права на возмещение, объявление его вне закона, наконец, порабощение. Такой человек пол-

¹ Pactus legis Alam., XIV, 6—11 (minoflidus, medianus); Lex Burg., II, 2 (minor, mediocris).

ностью выпадал из системы статусов, а следовательно, и социальных связей и, как уже упоминалось, вообще переставал считаться человеческим существом.

Варварское право, по-видимому, не терпело никакой неопределенности в вопросах, связанных с положением человека в обществе, ибо неизвестно было, как надлежит относиться к такому человеку неясного статуса. Стремлением исключить все подобные сомнительные случаи и продиктована значительная часть содержания судебныхников. Так, например, в англосаксонских *Правдах* проблемы социальной стратификации доминируют. Условие ведения судебной тяжбы и вообще применения норм права — установление социального статуса заинтересованных лиц, а равно и привлекаемых ими соприсяжников и свидетелей; ведь от их статуса зависели ход процесса и все действие права. Нередко для подтверждения своего статуса требовалось перечислить ряд предков. Так, хольдом-одальманом в Норвегии считался человек, три или даже пять поколений предков которого владели родовой землей, и при доказательстве в суде прав на оспариваемое владение необходимо было перечислить этих предков. Выше мы уже приводили предписание норвежских законов XIII в., согласно которым владелец земли был обязан перечислить всех предков, обладавших по отношению к ней правом одаля, вплоть до языческих времен (буквально — «до одаля времени курганов»). Однако в *Правдах* обычно не упоминается процедура установления статуса (исключение, пожалуй, составляют случаи, когда дело касается чужаков) — очевидно, он и так был известен участникам судебного собрания. И действительно, жители одного округа и даже просто соплеменники должны были лично знать друг друга, знать происхождение и общественное положение всех людей, присутствовавших на сходке. Это значило, что вполне конкретные представления о социальной дистанции, существовавшей между различными членами племени или жителями данной местности, постоянно присутствовали в их сознании, были как бы неотъемлемой чертой их мышления.

С этим связан вопрос о понятии чести. В литературе многократно подчеркивалось, что среди многочисленных «истинно германских» доблестей честь занимала особое место. Оставляя в стороне идеалистическую и националистическую трактовку этого вопроса многими немецки-

ми и скандинавскими историками, писавшими о древних германцах¹, нужно признать, что в центре морального кодекса германцев и, в частности, скандинавов (ибо о них лучше известно из источников) стояли категории чести и славы. Здесь было бы излишне и неуместно широко обсуждать эту особую проблему². Мы упомянули ее лишь постольку, поскольку она проливает свет на интересующий нас вопрос об отношении личности и общества в «дофеодальный» период. С понятием чести сталкивается и исследователь варварских Правд³. Нет, конечно, никаких оснований видеть в обостренном чувстве чести и в сознании моральной необходимости ее защищать какую-то врожденную отличительную особенность германцев: то же самое можно было бы найти и у других варварских народов в периоды переселений и завоеваний, когда повышается их агрессивность и воинственность. Это чувство чести, питавшееся как принадлежностью к роду, так и чувством личного достоинства, являлось формой осознания индивидом своей личности. Конечно, это «родовая личность» и родовая честь: оскорбление, нанесенное одному человеку, ложилось пятном на всю его родню. Но опять-таки неправильно было бы недооценивать в этом отношении и индивидуальный момент: на данного сородича возлагалась обязанность очиститься от позора и тем самым защитить честь коллектива; каждый член рода, заботясь о его чести, неизбежно должен был болезненно реагировать на любые посягательства на свое личное достоинство. Институт родовой, семейной чести был своеобразной школой воспитания чувства личного достоинства индивидов.

Вряд ли можно сомневаться в том, что повышенное чувство чести культивировалось в первую очередь знатью. В этом слое родовые традиции вообще держались гораздо дольше, чем среди рядовых свободных.

Таким образом, мы обнаруживаем основные детерминанты человеческой личности в «дофеодальном» обществе. Первый — это социальная структура в целом. В обще-

¹ См., например, *H. Geffcken. Der germanische Ehrbegriff. Deutsche Zeitschrift für Geschichtswissenschaft. N. F. I. Jahrg., 1896/97.*

² См.: *Ю. М. Лотман. Об оппозиции «честь» — «слава» в светских текстах киевского периода. «Труды по знаковым системам», III. Тарту, 1967, стр. 101—103.*

³ См., например, *Lex Salica, XXX.*

стве, не расчлененном на антагонистические классы, этот общий момент играл чрезвычайно большую роль в формировании индивида, бо́льшую, чем в классовом обществе. Дуализм «земледельческой» общины, коренившийся в противоречии между коллективным и индивидуальным началами, неизбежно должен был отражаться и на отношении личности и общества. С одной стороны, можно говорить о подчинении индивида коллективу — племени, общине, роду, большой семье, об известной степени поглощенности его индивидуального сознания сознанием группы. С другой стороны, однако, нужно помнить о господстве мелкого, обособленного производства, об антагонизме, то и дело грозившем вспыхнуть между родами и соседями; в этих условиях человеку приходилось полагаться прежде всего на свои собственные силы.

Как уже было сказано, в аграрном обществе, основанном на натуральном хозяйстве, существовало специфическое отношение человека к природе: особенно тесная с нею связь¹. Полностью отдифференцировать себя от естественной среды человек был не в состоянии не только в раннее средневековье, но и много позднее. Видимо, эта черта присуща в той или иной мере всякому доиндустриальному обществу. В таких условиях личность получает некоторые черты, отличающие ее от личности, формирующейся в обществе городском или промышленном. В частности, в литературе высказывалось мнение, что средневековый человек вследствие ограниченности средств ориентации в мире отличался повышенной нервной возбудимостью, неустойчивостью психики, «визуальной отсталостью» (преобладанием слуховых и осязательных восприятий над зрительными) с рядом вытекавших отсюда важных последствий². Многие из этих предположений кажутся правдоподобными, но они нуждаются во всесторонней проверке; пока они не обоснованы достаточно широкими исследованиями источников, самая методика

¹ См. гл. I, § 1.

² См.: *M. Bloch. La société féodale. I—II. Paris, 1939—1940; L. Febvre. Le problème de l'incroyance au XVI^e siècle. La religion de Rabelais. Paris, 1947; J. Huizinga. Le declin du Moyen Age. Paris, 1932; R. Mandrou. Introduction à la France moderne (1500—1640). Essai de psychologie historique. Paris, 1961; Z. Barbu. Problems of Historical Psychology. N. Y., 1960; J. Le Goff. La civilisation de l'Occident médiéval. Paris, 1965.*

подобного исследования еще не разработана. По нашему убеждению, в настоящее время пора перейти от общих рассуждений о психологии людей минувших эпох и более или менее остроумных догадок к разведке в области приемов изучения исторических памятников, приемов, которые могли бы привести к получению относительно объективных результатов.

Можно высказать предположение, что в доклассовом обществе человеческая личность еще не подверглась воздействию процесса «отчуждения», которое в той или иной мере характеризует человека в обществе классовом и связано с общественным разделением труда. В «дофеодальном» обществе человек был не только «трудящимся субъектом», но и воином, и членом народного собрания, и участником судебной сходки. Подобное сочетание в его лице различных общественных функций было следствием слабой их дифференцированности¹. Относительная нерасчлененность социальной деятельности придавала личности определенную цельность. Но эта многосторонность содержания общественной практики варвара была вместе с тем и признаком ее бедности и неразвитости. Человеческая личность еще не была сконцентрирована в самой себе, как была распылена и ее деятельность.

Поэтому-то столь важен был и второй детерминант личности в «дофеодальном» обществе — принадлежность индивида к семье или к роду и, при посредстве этой органической группы, к определенному социальному разряду. Различия между общественными слоями заключались, конечно, не только в их юридических признаках (в этом плане они проецируются в Правдах); они шли глубже, постоянно проявляясь в их материальном положении, в быту, социальных навыках, обычаях, по большей части ускользающих от исследователя. Но если невычлененность человеческой личности из социальной структуры (в той мере и форме, в какой это наблюдается на данной стадии) можно, по-видимому, отнести к специфическим условиям существования человека в доклассовом обществе, то обусловленность его положения социальным разрядом — через принадлежность к «малой группе» — не есть особенность одного лишь этого общества: здесь мы стал-

¹ См. главу III.

киваемся с явлением более универсальным. Нужно только принимать во внимание характер и степень этой обусловленности. Учитывая указанные моменты, можно в какой-то мере приблизиться к уяснению места человека в обществе и тех возможностей, которые это общество создает для его развития. Тем самым мы несколько ближе подходим к уяснению и самой общественной структуры.

В плане изучения отношения личности к «дофеодальному» обществу было бы весьма существенно исследовать вопрос о переходе варваров от язычества к христианству. Смена религии была тесно связана с переходом от варварства к цивилизации, следовательно, и с разложением доклассовой социальной структуры. Но все это — особая тема ¹.

Изложенное, разумеется, не решает поставленных нами вопросов. Мы хотели лишь наметить возможные пути их исследования и подчеркнуть значение проблемы «личность и общественная структура».

Если же попытаться подвести самые предварительные итоги уже проделанной работы, то, по-видимому, можно было бы высказать следующие предположения.

В варварском обществе включение индивида в социальное целое осуществлялось через посредство серии или иерархии «малых групп» разного объема и состава. При этом человеку предоставлялись очень ограниченные, минимальные возможности для выбора жизненного пути, способа поведения. Еще в меньшей степени от него зависело вхождение в группу. Перед нами — родовая личность, воспитывавшаяся в категориях строго нормативного поведения, постоянно подчинявшаяся стандарту. В известном смысле можно даже говорить о ритуализации человеческого поведения. Средствами подобной ритуализации и регламентации служили, во-первых, система процедур, в которые неизбежно отливало общественное поведение; во-вторых, этические побудители, понятия чести, родовой славы, строгий кодекс моральных запретов и предписаний; в-третьих, система правовых санкций и принуждения, находящая наиболее выпуклое отражение именно в судебныхниках; в-четвертых, система социально-

¹ См.: S. Piekarczyk. *Barbaryńcy i chrześcijaństwo*. Warszawa, 1968.

правовых статусов и социальных дистанций, теснейшим образом связанная с моральными нормами и правовыми санкциями. Все эти моменты в своей совокупности образовывали механизм социального контроля, подчинявший человека и его группу интересам общества в целом.

Тем не менее не существовало полного растворения индивида в группе. Складывалось определенное равновесие общества и индивида. Микроструктура «дофеодального» общества, по-видимому, выполняла двойственную функцию: с одной стороны, она подчиняла входившего в нее индивида обществу, с другой — в какой-то мере создавала условия для проявления его индивидуальности. Но возможности для развития индивида оставались крайне ограниченными всей системой социальных связей, равно как и отношением общества и природы. Особенно важно в этом смысле то, что были минимальными возможности закрепления и передачи, воспроизведения индивидуального творчества. Поэтому и культурное развитие варварского общества совершалось до крайности медленно, доминировали моменты традиционности. Это общество, скорее воспроизводящее себя на прежней основе, нежели изменяющееся. Недифференцированность, высокая мера слитности доклассового общества прямо связаны с нерасчлененностью социальной практики индивида.

Изучение избранного нами круга исторических источников позволяет, даже и при более интенсивном их анализе, сделать лишь ограниченные наблюдения. Для рассмотрения той же самой проблемы под другим углом зрения необходимо, как уже упоминалось, привлечь памятники литературы, искусства, мифологию, религию.

Черты общественного сознания, которые удастся раскрыть при исследовании Правд, по большей части характерны не только для варваров, но и для «архаического сознания» вообще. Положение личности в «дофеодальном» обществе, рисуемое по судебникам, также вряд ли специфично для одного этого периода; могут возникнуть многочисленные и подчас оправданные аналогии с другими доклассовыми и раннеклассовыми обществами, с другими эпохами истории.

Следовательно, необходимо привлечь также и источники иного рода, которые дали бы возможность осветить

нашу проблему в другом аспекте. Лишь в результате комплексного исследования удалось бы, возможно, раскрыть те черты человеческой личности и ее отношения с социальной структурой, которые типичны для переходной эпохи от родового строя к феодализму¹.

¹ Но мы не исключаем возможности того, что и в результате всестороннего (насколько это допускает имеющийся в распоряжении историка материал) изучения проблемы «индивид и общество» применительно к «дофеодалному» периоду мы не получим ответа, который ясно обнаружил бы специфические черты общественного сознания. Не окажется ли, что во всех доиндустриальных обществах (во всяком случае, в достаточной мере архаичных) будут вновь и вновь обнаруживаться приблизительно сходные структуры сознания, формы поведения, способы включения индивида в социальное целое? И в этом случае значение подобного исследования было бы в высшей степени велико.

ГЛАВА III

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОЦЕССА ФЕОДАЛИЗАЦИИ

§ 1. ОТ СВОБОДЫ К ЗАВИСИМОСТИ

Понимание процесса феодализации определяется оценкой его предпосылок. Мы считали необходимым в этой связи рассматривать особенности структуры варварского общества, сосредоточивая внимание на системе социальных связей и на отношениях собственности. Как мы видели, варварское общество отличалось чрезвычайной консервативностью своей структуры и почти полным отсутствием внутренних факторов развития. Механизм его функционирования допускал по преимуществу лишь повторение и воспроизведение раз навсегда установившейся формы общественных отношений, затрудняя их внутреннюю трансформацию и спонтанный переход к иной системе. Отношение человека к возделываемой им земле в варварском обществе характеризовалось неразрывным единством его с участком; земля не была простым объектом владения, скорее она являлась предпосылкой существования человека, частью его собственной природы. Земельный надел крестьянина не представлял собой его частной собственности; под эту категорию нельзя, без значительных натяжек, подвести ни англосаксонский фольклэнд, ни скандинавский одаль, ни даже франкский аллод. Полнота обладания участком — не основание для того, чтобы считать права обладателя частнособственническими. Вообще отношение варваров к богатству имело особый характер: материальные ценности не только, а подчас и не столько служили источником дальнейшего обогащения, сколько выступали в качест-

ве орудия социального общения, достижения, поддержания и повышения общественного престижа, внеэкономического могущества.

Разграничение понятий, на котором мы настаиваем, далеко не сводится к замене выражения «частная собственность» выражением «полнота обладания». Вопрос гораздо более серьезен. Ведь из приравнивания аллода к частной собственности, к товару обычно следует вывод, имеющий решающее значение для понимания всего процесса превращения свободных земледельцев в зависимых держателей. Не секрет, что тезис об аллоде-«товаре» в советской медиевистике опирается на известное высказывание Ф. Энгельса, содержащееся в незаконченной и при жизни его не опубликованной рукописи «Франкский период». По его мнению, в противоположность азиатским народам и русским, у которых не образовалась частная собственность на землю, вследствие чего «государственная власть проявляется в форме деспотизма», на завоеванной германцами территории наделы пахоты и луга превратились в аллод, в свободную собственность, — отсюда, по мысли Энгельса, идет развитие феодализма, общественного, государственного строя, разлагающего государство и в своей классической форме уничтожающего всякий аллод¹. Феодализм, по словам Энгельса, возникает именно на основе аллода. «Аллодом создана была не только возможность, но и необходимость превращения первоначального равенства земельных владений в его противоположность. С момента установления аллода германцев на бывшей римской территории он стал тем, чем уже давно была лежавшая рядом с ним римская земельная собственность, — товаром. И таков уж неумолимый закон всех обществ, покоящихся на товарном производстве и товарном обмене, что распределение собственности делается в них все более неравномерным, противоположность между богатством и бедностью становится все резче и собственность все более концентрируется в немногих руках, — закон, который при современном капиталистическом производстве достигает, правда, своего наиболее полного развития, но отнюдь не только при нем вообще вступает в силу. Итак, с того момента, как возник аллод, свободно отчуждаемая земельная собственность, земель-

¹ См.: К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 19, стр. 496—497.

ная собственность как товар, возникновение крупной земельной собственности стало лишь вопросом времени»¹.

Земля, продолжает Энгельс, была главнейшим видом богатства в аграрном обществе Европы раннего средневековья. «Господствующим классом, который постепенно складывался здесь с ростом имущественного неравенства, мог быть лишь класс крупных землевладельцев, формой его политического господства — аристократический строй. Поэтому, если мы увидим, как на возникновение и развитие этого класса неоднократно и как будто даже преимущественно оказывали влияние политические средства, насилие и обман, то мы не должны забывать, что эти политические средства только содействуют усилению и ускорению необходимого экономического процесса»².

Эти слова Энгельса хорошо известны, они очень часто приводятся в наших учебниках и исследованиях по истории раннего средневековья (обычно с изъятием фразы о «законе всех обществ, покоящихся на товарном производстве»). Тем не менее на разборе некоторых выдвинутых здесь положений необходимо остановиться. Энгельс, естественно, опирался на те сведения, которые он мог почерпнуть из современной ему западноевропейской, преимущественно немецкой историографии. В частности, мысль о том, что аллод был равноценен римской частной собственности — *possessio* и, подобно ей, представлял собой свободно отчуждаемую собственность, Энгельс мог заимствовать у П. Рота, на которого он часто ссылается³. Однако ученые, книги которых Энгельсу приходилось использовать, не предложили достаточно глубокого объяснения описываемых ими явлений из истории раннего средневековья. Восполняя этот пробел, Энгельс ограничился рассуждением общего порядка. Но выдвинутое им построение небызупречно.

Прежде всего, Энгельс приравнивает аллод к римской частной собственности. Между тем германский аллод и римская земельная собственность, несомненно, разные институты. Аллод — форма владения, обусловленная при-

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 19, стр. 497.

² Там же, стр. 497—498.

³ См.: P. Roth. Geschichte des Beneficialwesens von den ältesten Zeiten bis ins zehnte Jahrhundert. Erlangen, 1850, S. 104—105, 207—208, 436, f. См.: К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 19, стр. 498, 500, 501, 507, 508, 513.

надлежностью к общине, тогда как римская земельная собственность была принадлежностью граждан, подданных римского государства. Римское частное землевладение сложилось в совершенно ином обществе, нежели аллод. Аллод, как подчеркивалось выше, не был товаром, свободно отчуждаемой собственностью, а общество, в котором он складывался и развивался, не покоилось на товарном производстве и обращении товаров, ибо ни франкское, ни какое-либо иное общество в раннесредневековой Европе не характеризовалось развитием товарного производства и обмена; напротив, оно было в основе своей натурально-хозяйственным. Товарный обмен — реальность этой эпохи, но он не определял структуры общества. Поэтому во франкском обществе невозможны были ни свободная игра рынка, ни перераспределение собственности в соответствии с тем законом, на который ссылается Энгельс. Все попытки Допша и его последователей доказать, что эпохе раннего средневековья были знакомы развитые товарно-денежные отношения, давно обнаружили свою несостоятельность.

Соответственно, и возникновение крупного землевладения нуждается в конкретно-историческом объяснении, и простой ссылки на игру экономической стихии, приводящей ко все более неравномерному распределению земли в обществе, к обогащению собственников и обнищанию и разорению крестьянства, совершенно недостаточно. Политические средства и насилие, упомянутые Энгельсом в качестве спутников этого экономического процесса, видимо, имели здесь совсем иной смысл и значение, чем в период «первоначального накопления капитала», когда они действительно были лишь формами проявления экономического процесса капиталистического развития в недрах разлагавшегося феодального общества.

Логика вышеприведенного построения Энгельса понятна. Констатируя процесс феодального подчинения свободных людей, шедший во Франкском государстве, он делает вывод: «Прежде чем свободные франки могли сделаться чьими-либо держателями, они должны были каким-нибудь образом потерять аллод, полученный ими при занятии территории, должен был образоваться особый класс безземельных свободных франков»¹. Разоре-

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 19, стр. 502.

ние свободных франков, вызванное непосильными войнами, которые непрерывно вели короли, грабежами, нападениями внешних врагов, насилиями магнатов и вымогательствами церкви, привело к тому, что «свободное крестьянское сословие» исчезло относительно быстро¹. Но весь вопрос заключается в том, действительно ли свободному крестьянину было необходимо потерять свой аллод и разориться для того, чтобы затем превратиться в зависимого держателя?

Развивая эти мысли Энгельса, некоторые медиевисты идут так далеко, что в аллоде и его судьбах признают «системообразующий фактор», т. е. «фактор, составляющий логический и исторический центр всей системы, приводящий ее в движение, задающий ей историческое направление»². На наш взгляд, здесь необходимо вспомнить о важнейшей идее Маркса о сущности «первоначального накопления капитала» как процесса, впервые в истории человечества приводящего к массовому отрыву непосредственных производителей от средств производства и прежде всего — от земли. Маркс подчеркивал, что «свободная частная собственность на землю — факт совсем недавнего происхождения». Юридическое представление о свободной частной собственности «появляется в древнем мире лишь в эпоху разложения органического общественного строя, а в современном мире лишь с развитием капиталистического производства»³. Тесное, органическое соединение работника с землей, наделение его средствами производства — основа всех докапиталистических формаций. Это соединение могло быть разрушено только на заре капитализма. Об этом неоднократно писал и сам Энгельс⁴. В. И. Ленин также подчеркивал, что землю в товар впервые превращает капи-

¹ См. *К. Маркс и Ф. Энгельс*. Соч., т. 19, стр. 338, 502—503; т. 21, стр. 151—153.

² *М. А. Барг, С. Д. Сказкин*. История средневекового крестьянства в Европе и принципы ее разработки. «Вопросы истории», 1967, № 4, стр. 68.

³ *К. Маркс и Ф. Энгельс*. Соч., т. 25, ч. II, стр. 165 и примеч. 26.

⁴ В. И. Ленин специально выделяет возражение Энгельса Г. Джорджу, который писал об универсальности экспроприации масс населения: «Исторически это не вполне верно... В средние века не освобождение (expropriation) народа от земли, а, напротив, прикрепление (arrprogriation) его к земле было источником феодальной эксплуатации». *В. И. Ленин*. ПСС, изд. 5, т. 3, стр. 184, примеч. Ср.: *К. Маркс и Ф. Энгельс*. Соч., т. 21, стр. 348—349.

тализм, порывающий с сословностью землевладения¹. Исходя из проделанного ранее анализа отношений землевладения в переходный период от доклассового общества к феодализму, а также из изложенных сейчас общих соображений, мы должны согласиться с основными критическими замечаниями М. В. Колганова относительно точки зрения Энгельса на аллод и процесс превращения свободных общинников в зависимых держателей².

Возникновение феодализма в Европе — в высшей степени сложный процесс, в котором происходило взаимодействие общественных порядков античности с социальными отношениями варваров. Но как понимать это взаимодействие? Нередко в нем видят сближение обеих общественных систем: в римском обществе развивается колонат — предпосылка феодальной зависимости, растет экзимирированное крупное поместье; в варварском обществе приобретает большое значение эксплуатация зависимых людей (патриархальное рабство), усиливается общественное неравенство, зарождается частная собственность; после переселения варваров на территорию бывшей Империи обе эти линии развития сливаются и дают в дальнейшем феодализм.

Однако понятие римско-германского синтеза, как нам кажется, нуждается в уточнении. Нужно признать, что попытки найти феодализм или хотя бы его элементы в позднеримском обществе не были убедительны. Колонат, при внешнем сходстве с зависимостью средневековых крестьян, — не феодальная зависимость, а специфическая форма поздне рабовладельческих отношений; отношение колона к средствам производства коренным образом отличается от отношения к ним средневекового крестьянина. В позднеримском поместье трудились не феодально зависимые держатели, и оно, в отличие от средневековой вотчины, не представляло собой организационную форму присвоения феодальной ренты. С другой стороны, вряд ли содержит элементы феодализма и варварское общество; патриархальное рабство может развиваться в более зрелую форму рабовладения, так же как и в феодальную зависимость крестьян. Варварское общество — не обязательно

¹ См.: В. И. Ленин. ПСС, т. 3, стр. 310.

² См.: М. В. Колганов. Собственность. Докапиталистические формации. М., 1962, стр. 326 и далее.

«дофеодальное»: оно могло быть и «дорабовладельческим». Оно могло быть и тупиковым.

Иногда указывают на то, что как в позднем римском обществе, так и в обществе варваров укрепляется мелкое хозяйство; в дальнейшем на мелком производстве будет основываться феодальное общество. Но ведь и рабовладельческое общество основывалось на индивидуальном производстве. В обществах «восточного типа», при всех глубоких их отличиях от античного или феодального общества, производство также мелкое. Собственно, благоприятные условия для развития крупного производства впервые создает капиталистический строй, экспроприрующий мелкого производителя. Все предшествующие ему формации так или иначе опираются на мелкое, индивидуальное хозяйство.

Представим себе на момент, что мы ничего не знаем о дальнейшей судьбе ни античного общества, ни общества древних германцев; смогли бы мы дать обоснованный прогноз, пойдут ли они в дальнейшем по пути феодализма? По совести говоря, — нет. Но поскольку историки пророчествуют о прошлом, то, зная, что после Великих переселений народов в Европе развился феодализм, они, естественно, ищут именно его предпосылки в предшествующем состоянии Римской империи и варварских племен.

Хотелось бы обратить внимание и на другое обстоятельство. В тех странах Европы, которые в древности входили в Римскую империю и характеризовались развитыми рабовладельческими порядками и в которые переселилось относительно небольшое число варваров, в период раннего средневековья феодальное развитие идет медленно. В них не возникает устойчивых форм государства, сохраняются отношения земельной аренды, которые без известных натяжек трудно причислить к феодальным держаниям, долго не изживается рабство. Затяжной процесс феодализации наблюдается и в странах преимущественно германского пути развития, где римский элемент был слаб или влияние его ничтожно. Здесь длительно сохранялись порядки «военной демократии» и было устойчиво свободное крестьянство. Лишь там, где синтез позднеримских и варварских порядков был более «уравновешенным», где оба элемента выступали «соразмерно», феодализм развивался быстрее и наиболее интенсивно и при-

нял «классический» облик. Все это известно. Но какие выводы можно извлечь из наличия указанных вариантов генезиса феодализма в Западной Европе?

Очевидно, последний («франкский») вариант оказался наиболее благоприятным для развития феодализма потому, что при нем германские социальные порядки, пришедшие в столкновение с римскими, не разрушались сразу и полностью (как в первом, «романском», варианте), но подверглись постепенной и интенсивной перестройке, тогда как в «германском» варианте (Саксония, Скандинавия, Англия до 1066 г.) они оказались слишком устойчивыми и трансформировались с трудом, да и то в большой мере под влиянием соседних государств, дальше них продвинувшихся в направлении к феодализму.

Мы полагаем, что под синтезом нужно понимать не сближение вступающих во взаимодействие систем, а рождение качественно нового общественного строя в результате столкновения этих весьма несхожих между собой социальных систем¹.

Позднеримская общественная система зашла в тупик и переживала глубокий распад. Но крушение античного общества не вело к феодализму, — оно было показателем противоречий между реальными социальными группами и грандиозной империей, предъявлявшей к ним непомерные и невыполнимые требования, следствием чего была полная утрата империей всех своих жизненных сил.

Варварское общество вряд ли плодотворно рассматривать только как переходное от общинно-родового строя к феодализму. Скорее стоило бы обратить внимание на его самобытность. Это общество уже не первобытнообщинное; по выражению А. И. Неусыхина, оно «общинное без первобытности»². Общинный же строй на своей последней стадии, но еще без частной собственности и классов — состояние не одного «дофеодального» общества, а в высшей степени распространенная социальная форма, далеко не всегда, однако, превращающаяся в классовое общество. Там же, где такое развитие происходит, от мно-

¹ Сейчас речь не идет о длительном культурном взаимодействии Рима и варваров, отрицать которое было бы нелепо.

² А. И. Неусыхин. Дофеодальный период как переходная стадия развития от родоплеменного строя к раннефеодальному (на материале истории Западной Европы раннего средневековья). «Вопросы истории», 1967, № 1, стр. 76.

жества различных факторов зависит, пойдет ли это развитие по направлению к рабству, к феодализму или к какому-либо иному классовому строю.

Если мы станем на такую точку зрения, то следует предположить, что возникновение феодализма в Европе не было вызвано внутренней трансформацией позднеримского общества и не явилось прямым продолжением эволюции социального строя варваров. Мы вообще мало что знаем об эволюции германских племен до их переселений на территорию Империи. Структура этих племен мало изменялась. Нет оснований видеть в описаниях германских порядков у Тацита и других римских авторов констатацию каких-либо новых, незадолго до того возникших общественных институтов. Точно так же нет никаких причин полагать, что в первые века нашей эры у германцев наблюдался заметный прогресс в производстве; установлено, что земледелие не было для них новшеством¹. Перед нами — скорее общественная структура, достигшая определенной формы и законсервировавшаяся в ней. Дальнейшее развитие само по себе, по имманентным законам этой структуры, по-видимому, не шло или шло крайне медленно. На протяжении веков до Великих переселений варвары Европы стояли приблизительно на одной и той же стадии. Возникновение союзов племен не было чем-то неслыханно новым и не вело к созданию прочных политических образований.

Примером может служить общественный строй саксов до завоевания Саксонии Карлом Великим. Здесь варварское общество достигло, по-видимому, того предела, дальше которого его развитие — по одним лишь внутренним причинам — не идет. Деление племени на знать (эделингов), свободных (фрилингов) и зависимых (литов) застыло, крайне обостряясь и принимая чуть ли не характер каст; достаточно напомнить, что вергельд эделинга в

¹ Назовем лишь некоторые из новейших исследований о земледелии в древней неримской Европе: *H. Kohte*. Die völkercundliche Agrarforschung im Rahmen der Ethnohistorie. «Ethnographisch-archäologische Forschungen». 4. Teil, 1—2. Berlin, 1958; *H. Jankuhn*. Ackerfluren der Eisenzeit und ihre Bedeutung für die frühe Wirtschaftsgeschichte. «Berichte der Römisch-Germanischen Kommission», 37/38, 1958; *idem*. Vorgeschichtliche Landwirtschaft in Schleswig-Holstein. «Zeitschrift für Agrargeschichte und Agrarsoziologie». 9. Jahrg., 1. Heft, 1961; *K.-H. Otto*. Deutschland in der Epoche der Urgesellschaft. Berlin, 1960.

12 раз превышал вергельд фрилинга. Роль знати в общественном строе саксов была исключительно велика, нобили даже выступают в «Саксонской Правде» в качестве основных носителей правовых норм (в то время как во всех других «варварских Правдах» таковыми являются рядовые свободные). Многие фрилинги, подобно литам, находились под патронатом нобилей и других свободных. Тем не менее в господствующий класс знать не превратилась. Перед нами — традиционная социальная структура застойного характера. Формирование классов феодального общества началось и быстро пошло в Саксонии лишь после франкского завоевания, которое нанесло этой архаической, зашедшей в тупик структуре сокрушительный удар¹.

Генезис феодализма начинается у варваров только после расселения их на завоеванной территории Империи. Здесь они очутились в новых для себя условиях. Они оказались в положении завоевателей и должны были организовать свое господство над населением занятых ими стран. В процессе переселений и размещения на новых территориях старая племенная основа общественного строя варваров была подорвана, ее сменил территориальный строй. По обеим этим причинам стало неизбежным возникновение государства. Ярчайшим показателем краха традиционного строя жизни варваров явилась относительно быстрая их христианизация. Напротив, те племена, которые не переселялись целиком на новые территории (саксы, скандинавы, славяне), долгое время сохраняли старую социальную структуру и противились христианизации, приняв ее лишь несколько веков спустя.

Что касается римско-германского синтеза, то нужно признать: воздействие античного наследия на Европу происходило во все возрастающем объеме на протяжении всего средневековья. Можно даже сказать, что европейская цивилизация средних веков в немалой мере явилась продуктом приобщения варваров к античности. Освоение античного наследия продолжалось и в эпоху Возрождения, и в эпоху классицизма. Но как раз в начальный период средневековья этот синтез, по-видимому, был не

¹ Подробную характеристику общественного строя саксов (однако с иными выводами) см. в кн.: А. И. Неусыхин. Возникновение зависимого крестьянства..., глава IV.

более, а менее значительным и мощным, чем в последующие периоды. Дело заключалось не столько в нем, сколько в крахе традиционной системы социальных отношений варваров при столкновении с новыми требованиями, которые предъявила к ней жизнь в новых материальных, политических и культурных условиях.

Выходом из этого кризиса варварского общества на романизованной почве и явилась феодализация. На протяжении нескольких столетий, следующих после падения Римской империи и расселения в ней варваров, в Европе возникает новая социальная система, характеризующаяся господством рыцарства и духовенства над зависимым крестьянством.

Именно в этой связи приобретает значение вопрос о причинах превращения основной массы варваров, расселявшихся на территории Западной Европы, из свободных в зависимых. В нашей научной и учебной литературе¹ распространено мнение об утрате крестьянами земельной собственности и переходе ее в распоряжение церковных и светских господ; разорившиеся крестьяне были принуждены закрепощаться, вступать в зависимость от богатых и знатных. Однако даже если бы мы согласились с тем, что аллод со временем стал «товаром», объектом свободного отчуждения, то и тогда мы констатировали бы в лучшем случае лишь возможность его утраты крестьянином. Этим еще далеко не решается вопрос о причинах реализации такой возможности.

В литературе обычно подчеркивается экономическая неустойчивость крестьянского хозяйства, сильно страдавшего от стихийных бедствий (неурожаев, падежа скота и т. п.), от нехватки рабочей силы и инвентаря, от сокращения размеров земельных наделов. Но ведь от этих неблагоприятных явлений крестьяне не были застрахованы в любую историческую эпоху, — страдали они от них и после того, как переходили под власть феодалов, — тем не менее перечисленные отрицательные факторы, которые, если судить по литературе, порождали разорение широкой массы свободного крестьянства, странным обра-

¹ См.: *Ф. Я. Полянский*. Экономическая история зарубежных стран. Эпоха феодализма. М., 1954, стр. 42—50; *В. Ф. Семенов*. История средних веков. М., 1961, стр. 41—42, 53; «История средних веков», т. I. М., 1966, стр. 115—117, 122—123, 132—133, 135.

зом не имели столь же губительных последствий для держателей, сидевших на землях крупных собственников.

Указывают и на другие причины утраты независимости свободными общинниками: насилия, чинимые магнатами, всячески злоупотреблявшими властью с целью подчинить себе крестьян. Нельзя недооценивать важности этого фактора. Однако вряд ли насилие могло служить определяющим моментом в процессе феодализации. Оно ускоряло исторический процесс, начавшийся по каким-то другим причинам, но не определяло его.

К указанным факторам разорения крестьянства обычно прибавляют еще опустошения сельской местности в результате непрекращавшихся войн и убоиц. Наконец, упоминают непосильные штрафы, ложившиеся со времени распада родовых связей на отдельных лиц. Известно, однако, что война разоряла крестьян на протяжении всего средневековья и поэтому не может быть отнесена к числу специфических явлений, присущих именно периоду становления феодализма. Что же касается штрафов, то вряд ли можно предположить столь значительное распространение преступности, чтобы судебные наказания могли существенно повлиять на экономическое положение массы населения.

В совокупности все перечисленные явления, на первый взгляд, производят внушительное впечатление. О том, что они действительно имели место, свидетельствуют источники. В капитуляриях, формулах и грамотах сообщается о разорении мелких собственников, о притеснениях магнатов, злоупотреблениях знати и чиновников. Хроники красочно рисуют междоусобицы и войны, сопровождавшиеся разорением сельского населения. Может показаться, что под давлением этих факторов широкие слои крестьян разорялись или стояли перед перспективой разорения, вследствие чего и вынуждены были отдаваться под покровительство феодалов, закрепощаться и закабаляться. Однако тезис о массовом обнищании и разорении свободного крестьянства как об основной причине его феодального подчинения представляется нам искусственным и неубедительным. Подобными ссылками на игру экономических сил невозможно заменить конкретный социологический анализ реального исторического процесса. Не отрицая действенности всех указанных неблагоприятных для крестьянства факторов, мы не можем видеть в них

основной, глубинной причины превращения большинства свободных общинников в держателей земель от церкви и светской знати. Это скорее волны на поверхности, симптомы подспудного процесса, обусловленного более основательно.

Неверно было бы приписывать феодализацию и развитие производительных сил. Несомненно, в феодальную эпоху, взятую в целом, произошел большой прогресс в экономике по сравнению с античностью. Но из констатации этого факта нередко делается заключение, что и переход от общественных отношений древности к средневековому феодальному обществу вызывался прогрессом производительных сил, якобы «переросших» рабовладельческую систему хозяйства и «требовавших» новых, соответствовавших им производственных отношений. На самом деле период раннего средневековья характеризовался упадком производства во всех областях: и в ремесле, вернувшемся на несколько веков к состоянию, значительно более примитивному, чем ремесло античное, и в сельском хозяйстве, где многие земли запустели в период кризиса империи и еще более после варварских завоеваний. Упадок городов, сокращение торговли, в особенности внутренней, усиление натуральнохозяйственных тенденций — все это показатели регресса экономической жизни Европы в первые столетия средневековья.

Расчистки в лесах, произведенные в римскую эпоху, после варварских завоеваний вновь зарастали лесом. Началась длительная, упорная, но зачастую мало успешная борьба за восстановление прежних пахотных площадей. Англосаксонский поэт метко называл пахаря «врагом леса». Возникают новые, так называемые «лесные деревни». Тем не менее сокращение площади пахотной земли продолжалось на протяжении всего франкского периода. Впечатляющую картину обезлюдения деревень в этот период М. Блок завершает выводом: «Итак, в конечном счете борьба с природой закончилась провалом»¹.

Сравнение с античностью допустимо преимущественно для тех частей Европы, которые входили в состав Римской империи, т. е. для стран бассейна Средиземного моря. Относительно сельского хозяйства в этих странах

¹ М. Блок. Характерные черты французской аграрной истории, стр. 44.

установлено, что в эпоху античности уже был достигнут максимум развития аграрного производства, который вообще возможен при доминировании индивидуального хозяйства. В начале средних веков здесь наблюдается упадок. Затем положение постепенно выправилось, и в XI—XIII вв. агрикультура поднялась приблизительно до того уровня, на котором она находилась на рубеже н. э. — в период расцвета рабовладельческого мира¹. Система сельского хозяйства и состояние агротехники оставались в Южной Франции и Италии в средние века в основном такими же, как и в предшествующую эпоху; в природно-географических условиях Средиземноморья этот «потолок» мог быть превзойден лишь при переходе от мелкого производства к крупному, т. е. в новое время.

На это могут возразить, что несмотря на кажущуюся одинаковость состояния сельскохозяйственного производства в античности и в средние века в странах Средиземноморья на самом деле производительные силы переживали значительный прогресс и качественное обновление, так как производительные силы — это не только техника, но и сами производители, и если в древности основной фигурой в производстве был раб, то в средние века — крестьянин, ведущий самостоятельное хозяйство. Однако подобное возражение вряд ли можно было бы считать основательным, и даже если его принять, то нужно объяснить, почему при одних и тех же средствах и орудиях производства, при одинаковой в основном технике в древности эксплуатировали рабов, а в средние века — зависимых держателей.

В других, менее романизованных странах Европы в период раннего средневековья производство также долго не уходило от уровня, на котором стояло в древности. В некоторых областях внедряются более прогрессивные методы обработки земли, новые сельскохозяйственные культуры, постепенно распространяется тяжелый колесный плуг, в качестве рабочей силы начинают применять

¹ См.: «The Cambridge Economic History of Europe», vol. I. Cambridge, 1942, p. 118, f., 127, 168; *M. Bloch*. Les caractères originaux de l'histoire rurale française. T. II. Supplément établi par R. Davergne d'après les travaux de l'auteur. Paris, 1956, chap. II; *М. Л. Абрамсон*. О состоянии производительных сил в сельском хозяйстве Южной Италии (X—XIII вв.). В сб.: «Средние века», вып. 28, 1965, стр. 36—37.

наряду с волами лошадей, пускают под обработку залежные земли, осушают болота; но все это началось не сразу же после варварских завоеваний, а несколькими столетиями позже, главным образом с X—XI вв. Эти сдвиги не предшествуют генезису феодализма, а происходят уже в феодальном обществе¹. Феодализация же разворачивается в обществе с отсталыми (по сравнению с состоянием их в античном мире) производительными силами, в обстановке аграризации городов, упадка или стагнации сельскохозяйственного производства. Прибавим к этому еще и интеллектуальный застой, сопровождавший переход от античности к средневековью: прежняя, античная цивилизация агонизировала, средневековая, новая — еще не возникла.

Переселение варваров на римские территории отчасти приводило их в соприкосновение с новыми для них формами агрикультуры (огородничество, виноградарство, садоводство), дало им некоторые более совершенные сельскохозяйственные орудия, но коренным образом не изменило их хозяйственной деятельности. Впечатление о крутом повороте в экономической жизни германцев после завоевания римских провинций создается лишь в том случае, если придерживаться мнения об их «полукочевом» образе жизни в предшествующий период. Но такое мнение — миф. Выше было упомянуто, что германские племена издавна были земледельческими. Переложная система, представление о которой складывается при чтении Цезаря и Тацита, возможно, и имела место у отдельных племен, но не была распространена в Германии повсеместно. В ее северных областях уже в последние столетия до н. э. существовало оседлое земледелие².

¹ См.: R. Grand, R. Delatouche. L'agriculture au Moyen Age de la fin de l'empire Romain au —XVI^e siècle. Paris, 1950, chap. VI; G. Duby. L'économie rurale et la vie des campagnes dans l'Occident médiéval. T. I. Paris, 1962; С. Д. Сказкин. Очерки по истории западноевропейского крестьянства в средние века, ч. I, гл. I. Ср. «A. A. G. Bijdragen» 12. Wageningen, 1965, p. 38.

² E. van Giffen. Prehistoric Fields in Holland. «Antiquity» 2, 1928; C. W. Bishop. The Origin and Early Diffusion of the Traction Plough. «Antiquity», 10, 1936; A. Steensberg. North West European Plough-Types of Prehistoric Times and the Middle Ages. «Acta archaeologica», VII, 1936; K. Kerridge. Ridge and Furrow and Agrarian History. ECHR, IV, No 1, 1951; E. C. Curwen, G. Hatt. Plough and Pasture. The Early

Прежней оставалась после Великих переселений и организация производства: мелкое хозяйство.

Таким образом, нет оснований искать причины феодализации, начавшейся в Европе после варварских завоеваний, в подъеме или в качественных сдвигах в производстве. Наоборот, именно аграризация Западной Европы, нарушение или ослабление экономических связей между ее областями, господство натурального хозяйства создали условия, благоприятствовавшие процессу феодализации.

Наряду с попытками объяснить возникновение феодального строя экономическими причинами известное распространение получил взгляд, согласно которому феодализм вырастает из военного строя. Еще Г. Бруннер подчеркивал значение тяжеловооруженной кавалерии у франков в генезисе нового социально-правового порядка. Полемизируя со своими предшественниками, Бруннер утверждал, что не ленный строй послужил основой рыцарской конной службы, а, наоборот, потребность в рыцарской коннице, вызванная нападениями на Франкское государство норманнов, славян, аваров и арабов, стимулировала возникновение ленного строя¹. Не так давно Линн Уайт, развивая теорию Бруннера, выдвинул утверждение, что создание рыцарской конницы явилось решающим моментом в процессе перехода к феодализму. Возможность же появления кавалерии нового типа он объясняет тем, что в начале VIII в. стремя, давно известное кочевым народам Востока, стало достоянием и западноевропейцев. Благодаря стремени коренным образом изменилась роль лошади в военном деле и впервые стало возможным прочное соединение вооруженного воина с конем. Содержание рыцаря стоило чрезвычайно дорого и оно было возложено на крестьян. Военный класс приобрел политическое господство. «Немногие изобретения оказали столь же катализирующее влияние на историю...

History of Farming. New York, 1953; G. Hatt. The Ownership of Cultivated Land. «Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab. Historisk-filologiske Meddelelser». XXVI, 6. København, 1939; *idem*. Prehistoric Fields in Jylland. «Acta archaeologica», II, 1931; *idem*. Oldtidsagre. «Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab. Arkæologisk-Kunsthistoriske Skrifter». II, Nr 1. København, 1949.

¹ См.: H. Brunner. Der Reiterdienst und die Anfänge des Lehnwesens. В кн.: H. Brunner. Forschungen zur Geschichte des deutschen und französischen Rechts. Stuttgart, 1894.

Античность выдумала кентавра, раннее средневековье сделало его господином Европы»¹. Влияние технических усовершенствований на социальное развитие понимается Уайтом до крайности прямолинейно и примитивно.

Хотя рыцарство действительно господствовало при феодализме и генезис этого общественного строя ознаменовался разделением функций между военным классом, сосредоточившим в своих руках военное дело, и крестьянством, отстраненным от войны и управления и поглощенным производительным трудом, все же «военная теория» не может объяснить генезиса феодализма, поскольку она не рассматривает самого содержания этого процесса: смены систем общественных связей.

От упомянутой теории существенно отличается гипотеза, высказанная советскими учеными М. Я. Лойбергом и В. Э. Шляпентохом. Справедливо указывая на то, что в период генезиса феодализма уровень развития производительных сил в сельском хозяйстве «не только не превышал, но и был ниже соответствующего уровня рабовладельческой экономики», М. Я. Лойберг и В. Э. Шляпентох предлагают поэтому искать факторы формирования феодализма вне аграрной сферы². Они выдвигают на первый план вопрос о материально-технической базе военной организации при переходе от античности к средневековью и указывают на то, что достигнутое античностью производство тяжелого кавалерийского вооружения сделало возможным создание немассового конного войска; возникновение его повсюду предшествовало интенсивной феодализации. Исключительно активную роль военного фактора в докапиталистическую эпоху М. Я. Лойберг и В. Э. Шляпентох объясняют тем, что «военная организация являлась механизмом внеэкономического принуждения, т. е. обеспечивала функционирование докапиталистической экономики»³. Эти идеи заслуживают внимания, но нуждаются в проверке путем всестороннего исследова-

¹ Lynn White, Jr. *Medieval Technology and Social Change*. Oxford, 1962, p. 38.

² См.: М. Я. Лойберг и В. Э. Шляпентох. Общие факторы формирования феодальной системы хозяйства в Восточной Европе. В кн.: «Тезисы докладов и сообщений девятой (таллинской) сессии симпозиума по аграрной истории Восточной Европы (октябрь 1966 г.)». Таллин, 1966, стр. 145.

³ Там же, стр. 146.

ния. Разделяя мысль о том, что военная организация господствующего класса и, следовательно, характер его вооружения играли большую роль в процессе становления феодализма, как и в дальнейшем его функционировании, мы позволим себе высказать сомнение: объясняют ли указанные факторы «общий механизм непосредственного перехода» европейских народов от общинно-родового строя к феодальной системе? ¹

Как и всякое сложное историческое явление, генезис феодализма явился результатом переплетения многих причин. Тем не менее необходимо попытаться выделить среди них определяющие, движущие силы процесса. По нашему мнению, это можно сделать лишь рассматривая феодализацию с социологической точки зрения, как переход от одной системы социальных связей к другой.

Причины перехода к феодализму мы усматриваем в кризисе социального строя варваров, вызванном их столкновением с обществом Римской империи и переселением в завоеванные ими провинции. До тех пор пока варварские племена оставались в привычных для них условиях, присущая им социальная система мало изменялась и не испытывала коренных потрясений. Социальные структуры варварского общества — большая семья, род, племя — играли решающую роль в жизни его членов. Из поколения в поколение эти структуры неизменно формировали всю жизнедеятельность индивида; принадлежность к ним давала ему полноправие и гарантировала свободу, возможность пользоваться всеми общественными и имущественными правами. Эти группы представляли собой естественно возникшие, основанные на родстве союзы взаимной помощи, и лишь в составе подобной органической группы индивид мог рассчитывать на поддержку и защиту. Индивид не мог отделить себя от коллектива сородичей и соплеменников, смотрел на себя как на естественное звено в цепи поколений. Его обособленное существование было невозможно не только по материальным, но и по социально-психологическим причинам: личность могла себя идентифицировать только в составе коллектива и в его духовной атмосфере.

Родоплеменная структура представляет собой замкнутую и достаточно жесткую форму общественных связей.

¹ См. М. Я. Лойберг и В. Э. Шляпентох. Общие факторы формирования..., стр. 147.

Этнология свидетельствует, что возможности приспособления подобной социальной формы к быстро меняющимся условиям весьма невелики. Кровнородственные и семейные коллективы могли выполнять свои функции в рамках общества, относительно ограниченного по численному составу и территории. Ведь общение в этих группах заключалось в прямых личных контактах между их участниками, в законченной форме выражая личностный тип социальных связей. Общественные институты — органы управления, суда, культа — воплощались здесь в непосредственном взаимодействии членов общества.

На римской почве члены племени-завоевателя не жили изолированно от массы романизованного населения, находились в постоянном контакте с ним и с другими варварскими племенами. Между разными этническими и общественными группами устанавливались сложные взаимоотношения, регулировать которые органы родового строя были неспособны; они вообще не могли нормально функционировать в новых условиях. В этой во всех отношениях неоднородной социальной среде институты управления племенем, родовой помощи, кровной мести, соприязничества, семейного владения, хозяйственного сотрудничества, культового языческого общения, короче говоря, все традиционные формы социальных связей варварского общества обнаружили свою неэффективность, неспособность предоставить индивиду необходимую защиту. Таким образом, сохранение прежней социальной системы варваров в странах, в которые они переселялись, оказалось невозможным. Как уже было отмечено, племенная организация стала сменяться территориальной уже в процессе расселения в захваченных странах. Вскоре началось смешение варваров с местным населением. Вся система социальных связей, которую мы называем варварским обществом, начала рушиться.

Ослабление старой системы социальных связей означает формирование какой-то новой их системы, перегруппировку имеющихся в наличии общественных элементов, вступление индивидов в новые отношения между собой. Индивид по-прежнему не был способен жить изолированно, полагаясь только на собственные силы: он нуждался в поддержке и защите, испытывал непреодолимую потребность вновь слиться с коллективом и подчиниться его авторитету. Ослабление родовых связей вызывалось

прежде всего не индивидуалистическими поползновениями их членов, а неспособностью этих коллективов справиться с задачами, которые ставила перед ними жизнь в новой социальной, этнической, политической и духовной обстановке, порожденной завоеванием и столкновением с иной цивилизацией. Поскольку основа, на которой возникали новые связи, была территориальной, то связи эти завязывались уже не между сородичами, а между людьми посторонними, не объединявшимися родством. Такие неродственные связи могут принимать различные формы. Они могли быть отношениями между равными в имущественном и социальном положении людьми; таковы общинные связи и союзы искусственного родства. Но неродственные связи возникали и между социально и экономически неравными людьми — в результате складывались различные формы зависимости.

В варварских королевствах создавались социальные отношения и первого, и второго рода. Наряду с коммендацией, сеньориальной зависимостью, дружинной службой, министералитетом и иными отношениями, основанными на господстве и подчинении, широко распространяются союзы равных. Еще оставаясь в рамках родственной группы, индивид не мог не ощущать ее внутреннюю слабость, неспособность дать ему необходимую защиту. Даже не выходя из этой группы, не порывая с сородичами, он искал помощи за пределами круга родства. Некоторую поддержку оказывала община. Но, как уже отмечалось, «земледельческая» община периода раннего средневековья не была сплоченным коллективом: ее члены вели обособленные хозяйства и подчас приходили в столкновения между собой. В источниках она обычно упоминается в связи с теми конфликтами, которые вспыхивали из-за пользования угодьями и пахотными участками внутри общины или с соседними поселениями. Сплоченность община могла проявить преимущественно вовне, в отношениях с другой общиной или с властями, внутренняя же ее структура была рыхлой. Община вряд ли могла заменить отдельному человеку родственные группы в деле защиты и помощи.

Источники сообщают о других объединениях людей, строившихся на принципах равенства, — о защитных гильдиях, братствах, товариществах. Человек сплошь и рядом больше полагался на друга, побратима, нежели на

родственников. Такие братства, отчасти строившиеся по образцу родственных групп, могли объединять довольно большое число людей. Члены братств были обязаны защищать жизнь и честь друг друга, мстить за своих собратьев. В защитные гильдии вступали люди, которые могли сохранять при этом прежние отношения с кровными родичами. Гильдия также предоставляла защиту, охраняла имущество своих сочленов, принимала на себя некоторые функции по охране порядка; между ее членами существовала духовная близость¹.

Гильдии, братства и иные квазиродственные объединения играли большую роль в жизни варваров и привлекали многих людей, лишенных необходимой поддержки своих сородичей, дополняя или заменяя ее. Влияние этих союзов на социальные отношения было настолько велико, что королевская власть брала гильдии под покровительство и контроль, стремясь использовать их в своих целях, прежде всего для охраны порядка. Объединения на основе равенства и товарищества продолжали играть огромную роль на протяжении всего средневековья. Ремесленные цехи, объединения купцов, союзы подмастерьев, сельские и городские коммун, монашеские и рыцарские ордена и иные братства и ассоциации воплощали в себе корпоративную сторону феодальной жизни, эмбрионы которой возникли еще в предшествующую эпоху. Перечисленные формы объединений в высшей степени различны, но существенно обратить внимание на одну общую (в той или иной степени) для них черту: в отличие от природных союзов родства, они складывались на основе волеизъявления вступавших в них лиц, испытывавших нужду в том, чтобы включиться в коллектив и найти в нем удовлетворение определенным социальным потребностям, которые не могли быть утолены в рамках родственной группы.

Помощь и защиту, которую предоставлял коллектив, можно было получить и от индивидуального покровителя. Связь с ним восполняла недостававшую для многих потребность в создании устойчивых отношений с обществом. Дело заключалось не только в покровительстве, которое

¹ Слово *gildi* означало «платеж», «пир». Гильдии регулярно устраивали торжественные собрания и пиры, совершали совместные жертвоприношения и богослужения.

оказывал могущественный человек. Отношения между сеньором и вассалом, как правило, не сводились к отношениям между двумя лицами. В действительности то были отношения в пределах целой группы. Ведь у такого сеньора имелись и другие вассалы, поэтому вступление под его покровительство означало вместе с тем установление социальной связи с ними. В результате создавался особый мирок, в котором сочетались «горизонтальные» и «вертикальные» связи: между подзащитными и между ними и сеньором. Такие сплоченные вокруг патрона мирки существовали и в поздней Империи, давая защиту человеку от внешних опасностей и от посягательств государства. В сложившемся феодальном обществе вассалы одного господина образовывали союз равных (пэров), составлявший в случае необходимости курию. В обществе переходном, которым мы занимаемся, вассалы скорее объединялись в дружину или товарищество. Во всяком случае признание зависимости от господина сопровождалось вступлением подзащитного в социальную группу, строившуюся на совсем иных основаниях, чем союз родства. Однако отношения зависимости с самого начала не исключали сохранения связей с сородичами, одни могли дополнять другие. В основе родственных связей лежал принцип взаимности, мы обнаружим его и в связи между подопечным и покровителем: подзащитный обязан помогать сеньору и повиноваться ему, а тот в свою очередь должен защищать его. Отчасти власть сеньора даже строилась по образцу родовой. Англосаксонские законы VII—X вв. содержат много свидетельств того, что отношения покровительства и зависимости сочетались и переплетались с родственными связями. Вергелд за убитого человека получал наряду с сородичами и его покровитель¹. Подобно этому он и участвовал в уплате штрафа за проступок, совершенный подвластным человеком². Вообще нужно подчеркнуть, что отношения личного покровительства, верности и коммендации сами по себе не противоречат родовому строю и существовали в недрах древнегерманского общества, подобно тому как существуют и у других народов на стадии варварства. Нередко один и тот же человек был одновременно связан с членами

¹ Ine, 70, 76.

² Ine, 74, § 1.

гильдии и с покровителем: в англосаксонских законах в качестве соприсяжников и поручителей такого человека выступают и его «товарищи», и господин¹.

Но могло создаться такое положение, когда родственные отношения вступали в противоречие с отношениями покровительства, и обязанности, сопряженные с родством, оказывались несовместимыми с обязательствами по отношению к сеньору. Здесь ясно обнаруживается бóльшая сила связей с господином по сравнению с родственными связями: преимущество отдавалось первым. Так, родовая месть была запрещена по отношению к сеньору, против него нельзя было свидетельствовать в суде. Обычное право сурово карало за нарушение клятв, и тем не менее английский король Альфред предписывал, что человек должен скорее нарушить данную им клятву, чем изменить своему глафорду (господину)². В этих конфликтных ситуациях проявлялось предпочтение, которое отдавали власти сеньора как более эффективной и ценной для подзащитного. «Законы Альфреда» гласили: «...человек может сражаться на стороне своего кровного родственника, если тот подвергся противозаконному нападению, но не против своего господина, — этого мы не разрешаем»³. В конечном итоге подобные конфликты могли привести к разрыву отношений родства и к полному обособлению от них отношений вассальной зависимости.

Формы, которые принимали отношения господства и подчинения, были столь же многообразны, как и причины, вынуждавшие людей в них вступать. Обедневшие или стоявшие перед угрозой разорения люди искали себе покровителей, закабались у более богатых собственников. Но и в кабале нет ничего специфического для общества раннего средневековья, и ее не следует смешивать с феодальной зависимостью. Феодальное подчинение — не закабаление и не порабощение непосредственных производителей, хотя и то и другое происходило в изучаемый период.

Выше уже была высказана мысль, что основная часть свободных вступала в феодальную зависимость вместе со своими хозяйствами, — следовательно, не разорившись. Дело заключалось не столько в угрозе разорения свобод-

¹ Ine, 21.

² Alfred, 1, § I.

³ Alfred, 42, § 6.

ных соплеменников, сколько в тех условиях, в которых они очутились после образования государства. Королевская власть зародилась не в результате классового размежевания в среде варваров, — она возникла одновременно и в связи с ним, а отчасти ему предшествовала. Уже самые потребности организации завоевания, отмечал Энгельс, делали ее необходимой. Водворившись в бывших римских провинциях, предводители варваров должны были позаботиться о создании органов принуждения, которые контролировали бы покоренное население, обеспечивали охрану порядка, отправление правосудия и сбор доходов для короля и его слуг. Органы «военной демократии», сложившиеся в несравненно более примитивных общественных условиях, не могли справиться с этими задачами. Переход от родоплеменной организации к территориальной неизбежно обуславливал возникновение государства. Сохранение остатков римских государственных институтов облегчало протекание этого процесса¹.

Но возникнув в ходе завоевания и отчасти выражая интересы всего племени (союза племен), королевская власть начала обособляться от массы соплеменников и противопоставлять себя им. Ее непосредственной опорой становились дружинники и приближенные короля, его должностные лица, духовенство. Отношения же рядовых свободных к королю приобретали односторонний характер подданства. Отстраняемые от участия в управлении, они вместе с тем по-прежнему должны были исполнять все те обязанности, которые прежде составляли неразрывное единство с их правами: в первую очередь — воинскую службу.

Социальный состав населения варварского королевства был пестрым и сложным: обломки позднеимперского общества, элементы варварского общества, находившегося, как мы видели, в состоянии дезинтеграции. Если непосредственно вслед за завоеванием на первый план могли выступать отношения между завоевателями и покоренными, то вскоре картина должна была измениться. Переживавшая упадок социальная структура варваров не могла долго гарантировать их привилегированного положения в обществе. Неминуемо должны были сказаться

¹ См.: А. Р. Корсунский. Образование раннефеодального государства в Западной Европе. М., 1963.

реальные имущественные и общественные различия. Высшие слои романизованного населения были приближены к королю, их представители вступали к нему на службу, сближаясь с варварской знатью. Вместе с тем утрачивали свой социальный вес мелкие свободные из числа варваров: их роль в государстве была незначительной.

В обществе, несравненно более сложном по составу, чем общество варварское, и во много раз превосходившем его по численности населения и по занимаемой территории, неминуемо должно было происходить общественное разделение труда, выделение разных социальных групп с присущими каждой из них общественными функциями. Аграрная природа этого общества предопределила характер разделения труда — между земледельцами и землевладельцами. Но немалую роль в этом процессе сыграло и государство. Слабая государственная власть, возникшая в варварских королевствах, была не в состоянии осуществлять управление и охранять порядок в стране. Вместе с тем она не могла и отказаться от выполнения этих функций. Но она вынуждена была возлагать их на людей, пользовавшихся наибольшим могуществом и влиянием на местах, в тех мирках патроната и господства, из которых теперь состояло общество. Могущество крупных земельных собственников, магнатов и духовенства определялось тем, что в них как бы «замыкались» социальные связи этих мирков, они были основными «узлами» общественных интересов массы населения.

Большая часть населения — и свободные, и зависимые (колоны, литы, рабы) — занимались крестьянским трудом. Отдавать немалую часть своего времени для исполнения воинской службы и других общественных обязанностей свободному мелкому хозяину стало нелегко. Прежде, пока варвар входил в коллектив родственников, в большую семью, он мог совмещать воинские занятия с хозяйственной деятельностью: когда он уходил на войну, члены его обширной семьи (в состав домовой общины могло входить несколько десятков человек, в том числе несколько взрослых мужчин) продолжали вести хозяйство. С ослаблением родственных связей и с распадом больших семей подобное совмещение труда и воинских занятий делалось все менее возможным. Одновременно вокруг короля складывался слой дружинников, не заня-

тых производительным трудом и приобретающих все больший вес в военном деле и в управлении. Уже здесь были заложены предпосылки разделения общественных функций между воинами и крестьянами.

У многих мелких аллодистов возникало стремление избавиться от ставшего обременительным государственного тягла. С этой целью они искали себе сеньоров, которые защитили бы их от требований государства, т. е. исполняли бы вместо них военную службу, а они бы за это на них работали и платили бы им оброки. Во Франкском государстве, в котором процесс феодализации шел интенсивнее, чем где бы то ни было, эти явления приобрели настолько большое распространение, что борьба с ними сделалась важной задачей королевского законодательства.

Например, в капитулярии, изданном для Италии в 825 г., указывалось, что свободные люди, «прибегая к коварству и хитрости» (*fraudolenter ac ingeniose*), передавали свои владения церкви, получая их обратно за уплату оброков, с тем чтобы не нести публичных обязанностей. Капитулярий предписывал, чтобы они исполняли службу в ополчении и прочие государственные повинности, пока владеют своим имуществом. Здесь подчеркивается, что эти люди прибегали к «возвращенным прекариям» (*precaria oblata*) (ибо, судя по всему, именно такой характер носили их сделки с церковными учреждениями) «не из-за бедности, а с тем, чтобы уклониться от несения государственной службы» (*non propter paupertatem sed ob vitandam reipublicae utilitatem*)¹. А. И. Неусыхин справедливо замечает по этому поводу, что «дарения совершали не только бедняки, но и свободные люди средней степени зажиточности, которые старались избежать таким способом обременительной для них службы в военном ополчении. Такими людьми могли быть только свободные аллодисты крестьянского типа»².

Из других капитуляриев также явствует, что военная служба была крайне тяжелой повинностью для крестьян Франкского государства. Пользуясь их стесненным поло-

¹ A. Boretius (ed). *Capitularia regum Francorum*, t. I. Hannoverae, 1883, N 165, p. 330.

² А. И. Неусыхин. Возникновение зависимого крестьянства..., стр. 382, примеч. 3.

жением, могущественные представители светской и церковной знати принуждали крестьян к несению службы в ополчении до тех пор, пока последние не передавали им свои владения, после чего их освобождали от участия в войнах¹. Служба в армии, отрывавшая крестьянина от хозяйства и налагавшая на него дополнительное бремя, действительно могла довести его до разорения. Поэтому свободные крестьяне, заботясь о сохранении и укреплении своего хозяйства, подчас предпочитали отказаться от независимости, превратить надел в держание и подчиниться власти церковного учреждения, нежели сохранять ставшую тягостной для них свободу, сопряженную с исполнением воинской службы. Склонность некоторых свободных людей ко вступлению в духовное звание Карл Великий объяснял не благочестивыми настроениями, а стремлением уклониться от несения военной службы и других государственных повинностей; поэтому изданный им капитулярий запретил принимать сан священнослужителей без разрешения государя².

Немалый интерес представляют в этой связи и военные капитулярии Каролингов, предписывавшие, чтобы военную службу несли все владельцы или держатели четырех земельных наделов-мансов; владелец трех мансов обязан объединиться с однонадельным владельцем и совместно с ним выставить воина; те, кто имеет по два манса, также должны объединиться и вдвоем послать на войну одного человека; наконец, четыре крестьянина, владеющие мансом каждый, должны были содержать сообща на свой счет одного воина³. Таким образом, единицей земельного владения, достаточной для содержания воина, в начале IX в. считались четыре манса. Несомненно, это предписание свидетельствует об имущественной неоднородности аллодистов, среди которых существовали люди с несколькими наделами. Лишь такие владельцы четырех наделов имели достаточно средств для того, чтобы снарядиться на войну должным образом; содержание боевого коня и обладание полным вооружением стоили очень дорого и были доступны лишь для наиболее богатых людей.

¹ См.: A. Boretius (ed.). *Capitularia*, t. I, N 73, p. 165.

² A. Boretius (ed.). *Capitularia*, t. I, N 44, p. 125.

³ См.: A. Boretius (ed.). *Capitularia*, t. I, N 50, p. 137. Cp. F. Lot. *L'art militaire et les armées au Moyen Age en Europe et dans le Proche Orient*. T. I. Paris, 1946.

Но вместе с тем это предписание — яркое доказательство действия во франкском обществе закона общественного разделения труда. Свободные крестьяне были более не в состоянии осуществлять право ношения оружия, которое для них отныне являлось уже не правом, а тягостной повинностью, отрывавшей их от хозяйства и налагавшей на них большое дополнительное материальное бремя. Вряд ли дело заключается в разорении широких слоев крестьянства; нет никаких оснований считать всех владельцев одного или двух мансов обнищавшими людьми. Источником превращения воинской обязанности в обременительную повинность служила необходимость для рядового общинника все свое время, средства, силы и внимание посвящать сельскохозяйственному труду на наделе, иначе говоря — превращение его из соплеменника, участвовавшего не только в производстве, но и в общественном управлении, в крестьянина, в непосредственного производителя, лишенного возможности — в силу примитивных, тяжелых условий труда — заниматься чем-либо сверх него. Не об этом ли говорит и переход у франков от «мартовских полей» — собраний народного ополчения к «майским полям» — военным смотрам профессиональных конных воинов короля? Не так ли следует понимать и военную реформу Карла Мартелла?

В англосаксонской Британии военная служба, распространявшаяся первоначально на всех свободных, уже с конца VII в. во все большей мере перепоручается гезитам и тэнам, а ополчение рядовых кэрлов оттесняется на второй план. Процесс разделения труда между крестьянами и королевскими воинами нашел свое отражение и в терминологии записей обычного права и законов. В наиболее ранних англосаксонских Правдах общество расчленялось на эрлов и кэрлов — родовую знать и свободных людей, обладавших полноправием; впоследствии же эта общественная структура приобретает иной характер: законы говорят о *gesidcund men* и *cierlisk men*, т. е. о служилых людях и крестьянах. Интересно сравнить предписания о порядке исполнения военной службы, издававшиеся английскими королями в X и в XI вв. Законами короля Этельстана (925—935 гг.) предусматривалась явка в ополчение двух конных воинов «от одного плуга»¹. Между

¹ II AEthelstan, 16.

тем в «Книге Страшного суда» (1086 г.) в разделе о землевладении в Беркшире читаем: «Если король посылает куда-либо войско, с пяти гайд должен пойти только один воин, а с каждой гайды следует поставлять его питание и содержание и 4 солида в течение двух месяцев. Эти деньги королю не посылать, а отдавать воинам»¹. Это свидетельствовало о том, что ко времени Нормандского завоевания крестьяне практически были освобождены от исполнения военной службы, ибо владение пятью гайдами не было крестьянским и, согласно англосаксонскому праву, давало привилегии тэна. В этот период человек, имевший менее пяти гайд земли, считался «безземельным», т. е. не обладавшим достаточно крупным владением для того, чтобы исполнять воинскую службу рыцаря². Как видим, освобождение крестьян от военной повинности означало для них дополнительную повинность по содержанию профессиональных воинов. Можно предположить, однако, что сдачу продуктов и платежи воинам крестьяне предпочитали службе в войске, отрывавшей их от хозяйства. Нормандское завоевание углубило функциональное разделение труда в английском обществе.

И в Скандинавии лейданг — обязанность свободного населения участвовать в охране морского побережья — была со временем заменена одноименным налогом, который должны были платить бонды, тогда как воинские функции стали концентрироваться в руках королевских дружинников. В силу медленного развития феодализма в скандинавских странах разделение труда между воинами и крестьянством не было здесь полным; тем не менее в XII в. хирд — королевская дружина играла в Норвегии более важную роль и обладала большей боеспособностью, чем народное ополчение, а в XIII в. хирд становится средоточием сплачивавшегося вокруг короля господствующего класса рыцарей.

Думается, именно по указанным выше причинам многие свободные франкские аллодисты крестьянского типа, не будучи разорены, тем не менее искали покровительства церкви, передавая в ее пользу свои надельные участки на условиях *precaria oblata*. О том, что вступившие под частную

¹ DB, I, 56 b.

² См.: А. Я. Гуревич. Мелкие вотчинники в Англии раннего средневековья. «Известия АН СССР. Серия истории и философии», т. VIII, 1951, № 6, стр. 548, след.

власть крестьяне сплошь и рядом были далеки от обнищания, свидетельствует самый факт их эксплуатации феодалами: как бы мог крупный земельный собственник заставить зависимого крестьянина отдавать ему прибавочный продукт своего труда, если он еще до вступления в зависимость якобы дошел до такой бедности, что не мог долее существовать самостоятельно, следовательно, не производил, видимо, в своем хозяйстве в достаточном количестве даже и необходимого продукта?! Между тем «прекарии вознаградительные» (*precaria remuneratoria*), как и «прекарии выданные» (*precaria data*), вряд ли можно считать наиболее характерными формами втягивания крестьян в зависимость от земельных собственников¹.

Наряду с правом ношения оружия свободные общинники «дофеодального» общества обладали и другими правами-обязанностями: правом участия в сотенных и окружных собраниях, правом выступать в суде в качестве заседателей, соприсяжников и свидетелей. Эти права-обязанности также превращались в обузу для тех аллодистов, которые не имели в своих хозяйствах рабочей силы (рабов, держателей, домочадцев), достаточной для того, чтобы заменить их во время частых отлучек, сопряженных с занятием общественными делами. Но именно такие крестьяне составляли большинство населения. Источники свидетельствуют о том, что они постепенно перестают играть сколько-нибудь заметную роль в публичных собраниях, которые остаются народными больше по названию. Функции судей и соприсяжников все более переносятся на небольшую группу лиц, обособляющихся от остального населения. Так, в англосаксонском обществе эти функции с конца X в. могли исполнять только «достойные доверия тэны» или «родовитые тэны», т. е. лица, принадлежавшие к социальной верхушке. После Нормандского завоевания, закрепившего феодальный строй в Англии, исключение простолюдинов из числа судей было выражено чрезвычайно резко: вилланы и вообще все «низкие и неимущие люди» не могли исполнять судейских обязанностей, переданных в руки баронов².

¹ См.: Н. П. Грацианский. Из социально-экономической истории западноевропейского средневековья, стр. 176, след.; Л. Т. Мильская. Светская вотчина в Германии VIII—IX вв..., стр. 91—114.

² Leges Henrici, 29, § 1.

Не следует думать, что переход публичных функций к социально привилегированным группам всегда обязательно определялся стремлением последних закрыть крестьянам доступ в официальные судебные инстанции. По-видимому, мелкие крестьяне нередко видели в своем освобождении от обязанности посещать сотенные и окружные собрания не ущемление полноправия, а облегчение лежавшего на них бремени. Во всяком случае, это определенно видно из памятников норвежского права. Сохранность элементов старинной свободы у норвежских крестьян в феодальный период была сопряжена с их обязанностью посещать судебные собрания-тинги. (В Норвегии в большей мере, чем во многих других странах, сохранялась система народных собраний.) И тем не менее в «областных законах» мы встречаем предписания, которыми разрешалось всем бондам, не имевшим помощников в своих хозяйствах, не посещать тингов¹. Невявка же на тинг без уважительной причины считалась серьезным проступком, и установление наказаний за непосещение тингов свидетельствует об участвовавших случаях уклонения бондов от исполнения этой обязанности. Затруднительность для простых крестьян совмещать свое хозяйство с активным участием в общественной жизни была одной из причин изменений, происшедших в системе народных собраний в северо-западной Норвегии — Трендалаге. Первоначально высшим собранием области был Эйратинг, на который должны были являться все совершеннолетние мужчины. Это был, следовательно, всеобщий тинг (альтинг). Однако со временем местом высшей судебной инстанции в Трендалаге сделался Фростатинг; сюда вызывались уже представители бондов, по 40—60 человек от округа-фюлька, остальное же население должно было лишь обеспечивать их продуктами на время посещения тинга. Точно так же и в юго-западной Норвегии, в области Гулатинга, число бондов, обязанных являться на народное собрание, сокращалось. В конце XI в. на Гулатинг приходило до 400 бондов. Постановлением короля Магнуса Эрлингссона (1164 г.) это число было сокращено до 250. Во второй половине XIII в. число крестьянских представителей на тинге еще более сократилось: теперь их было всего около полутораста человек. Тем не менее и эти последние под-

¹ Frostathings-Lov, I, 4.

час проявляли упорное стремление не ездить на собрания: недаром законы предусматривали случай, когда на областной тинг не являлся ни один человек из целого округа!¹

Сокращение представительства бондов изображается в законах как льгота, сделанная крестьянам королевской властью. Для бедного крестьянства это, несомненно, и было льготой, независимо от тех социальных последствий, которые неизбежно должно было иметь такое изменение крестьянского представительства в органах управления.

В средневековой Исландии право-обязанность посещать общее собрание острова — альтинг распространялось на всех свободных мужчин. Уклонявшиеся от посещения альтинга должны были платить выкуп, шедший в пользу участников альтинга (*thingfararkaup* — плату за поездку на тинг). Малоимущие пользовались льготой: от посещения альтинга они были освобождены.

В таких странах, как Исландия и Норвегия, обязанность посещать публичные собрания была особенно тяжелой, ибо население жило очень разбросанно, а в природных условиях Скандинавии (горы, фьорды) поездка даже на сравнительно незначительное расстояние подчас превращалась в целое путешествие. Трудность заключалась, однако, не только в этом. Уезжая на тинг, бонд оставлял свое хозяйство. Из саг видно, что бонды, принимавшие участие в собраниях тингов, были владельцами рабов, вольноотпущенников, имели многочисленных домочадцев, которые трудились в их усадьбах.

Единственным способом радикально избавиться от всех публичных обязанностей, сопряженных с правами свободного человека, в условиях раннего средневековья был отказ от этих прав, т. е. отказ от независимости, от личной свободы. Говоря о росте частной вотчинной власти, об имунитете, обычно подчеркивают важную роль, которую он играл в укреплении власти феодалов над зависимым крестьянством, в его эксплуатации. Но наряду с этой совершенно правильной мыслью не позволительно ли будет высказать и другое предположение: в установлении частной власти вотчинника (не в ее дальнейшем развитии, которое обычно вело к усилению экс-

¹ См.: А. Я. Гуревич. Свободное крестьянство феодальной Норвегии. М., 1967, стр. 156, след.

плуатации крестьян и к росту их бесправия, а именно в установлении ее) в ряде случаев могли быть заинтересованы и сами крестьяне. Тем самым они уклонялись от тягостной повинности участвовать в публичных судебных заседаниях, главное же — избавлялись от разорительных штрафов, грозивших свободному человеку. Вотчинник в собственном суде не был обязан придерживаться предусмотренной варварскими Правдами системы наказаний, которая сложилась еще в период, когда возмещения уплачивались не индивидом, а родственной группой.

Известно, что в число «людей наших» (*homines nostri*), упоминаемых в «Капитулярии о поместьях», входили, наряду с сервами, также и зависимые люди, из числа бывших свободных. В титуле IV капитулярия проводится разграничение между проступками, совершенными «людьми нашими» по отношению к господину, и преступлениями против «других людей», очевидно, не входивших в сферу его частной власти. Преступления второго рода караются «по закону»: очевидно, если преступник не был сервом или литом, его должны были судить в качестве свободного. Проступки же по отношению к господину наказывались, помимо уплаты возмещения, бичеванием («исключая человекоубийство и поджог, за что следует штраф»). Это значит, что одного и того же человека могли судить то как свободного, то как несвободного, в зависимости от характера преступления и от того, против кого оно было содеяно. Следовательно, свободный человек, отдавшийся под власть феодала, мог быть в ряде случаев судим как несвободный, что освобождало его от части ответственности за совершенный им проступок. Королем Кнутом в Англии было издано распоряжение, которым запрещалось господам выдавать своих зависимых людей то за свободных, то за несвободных, смотря по тому, как им легче было защищать их в суде¹.

Используя сеньориальную юстицию в качестве средства внеэкономического принуждения, а доходы от нее как один из каналов выкачивания из крестьян феодальной ренты, крупный земельный собственник вместе с тем не был заинтересован в полном разорении подвластных ему людей. Система наказаний в варварском обществе и в обществе феодальном (применительно к крестьянину)

¹ II Cnut, 20, 1.

была глубоко различна, и в общем, по-видимому, можно признать, что в последнем она в большей мере считалась с необходимостью сохранить крестьянское хозяйство (как объект эксплуатации), не допустить его до полного разорения. Достаточно напомнить статью 20 «Великой Хартии вольностей», запрещающую при наказании виллана конфисковать его инвентарь, необходимый для обработки его надела и домена лорда. Варварские Правды, напротив, нередко исходят из предположения о возможности полного разорения свободного в результате уплаты штрафа или вергельда¹.

Признание над собой судебной власти могущественного человека могло сулить многим крестьянам определенное облегчение социального и имущественного положения. Не этим ли нужно объяснять возникновение слоя сокменов в областях датских поселений в Англии? Сокмен первоначально не лишался прав на свою землю, но он должен был посещать судебную курию лорда — своего покровителя. Нет оснований считать причиной подчинения этих крестьян судебной власти лордов их обеднение. По мнению Е. А. Косминского, сокмены и *liberi homines* «Книги Страшного суда» относились к полнонадельным крестьянам². Между тем этот слой был очень многочисленным: в последней трети XI в. их насчитывалось до 23 тысяч хозяйств, т. е. около 9% общего числа крестьян, засвидетельствованных «Книгой Страшного суда» по всей Англии. Можно ли быть уверенным в том, что все они попали под судебную власть лордов в результате королевских пожалований иммунитетных прав — соки? Этот процесс, по-видимому, шел и «сверху», и «снизу»: наряду с наделением крупных феодалов королем широкими иммунитетными правами (иногда над целыми округами) происходило вступление свободных крестьян в судебную зависимость от них, и скорее всего последнее предшествовало королевским иммунитетным пожалованиям, оформлявшим уже сложившиеся или складывавшиеся отношения и расширявшим сферу судебной власти феодала.

¹ См.: Н. П. Грацианский. О материальных взысканиях в варварских Правдах. В его кн.: «Из социально-экономической истории западноевропейского средневековья».

² Е. А. Косминский. Исследования по аграрной истории Англии XIII в. М., 1947, стр. 382—383.

Во всех упомянутых явлениях, на наш взгляд, можно обнаружить действие объективного исторического закона классового разделения труда. Энгельс писал об этом в «Анти-Дюринге»: «Разделение общества на классы — эксплуатирующий и эксплуатируемый, господствующий и угнетенный — было неизбежным следствием прежнего незначительного развития производства. Пока совокупный общественный труд дает продукцию, едва превышающую самые необходимые средства существования всех, пока, следовательно, труд отнимает все или почти все время огромного большинства членов общества, до тех пор это общество неизбежно делится на классы. Рядом с этим огромным большинством, исключительно занятым подневольным трудом, образуется класс, освобожденный от непосредственно производительного труда и ведающий такими общими делами общества, как управление трудом, государственные дела, правосудие, науки, искусства и т. д. Следовательно, в основе деления на классы лежит закон разделения труда»¹.

Само собою разумеется, разделение на классы, несущие различные общественные функции, совершалось в зависимости от распределения в обществе собственности, ибо в состав класса, освобожденного от производительного труда, могли входить преимущественно крупные собственники или служилые люди государя, а угнетенный класс образовали простые крестьяне.

В отличие от общественного разделения труда, под которым обычно разумеют разделение населения по роду хозяйственных функций (разделение на производителей и купцов, на ремесленников и земледельцев и т. д.), то разделение труда, о каком говорит Энгельс, можно было бы назвать классовым, или функциональным, разделением труда, ибо оно лежало в основе разделения общества на классы и социальные группы, выполняющие различные общественные функции.

Представители разных классов феодального общества как раз и выполняли разные общественно необходимые функции: производственную, военную, судебную, функцию управления, идеологические и религиозные функции; и класс, сконцентрировавший в своих руках функции, не связанные непосредственно с производством, использовал

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 20, стр. 292—293.

их в собственных интересах, в целях эксплуатации класса трудящихся. Энгельс, высказав мысль о том, что «в основе деления на классы лежит закон разделения труда», продолжает: «Это, однако, отнюдь не исключало применения насилия, хищничества, хитрости и обмана при образовании классов и не мешало господствующему классу, захватившему власть, упрочивать свое положение за счет трудящихся классов и превращать руководство обществом в эксплуатацию масс»¹. Исходя из интересов эксплуататорского класса феодального общества, его идеологи говорили о божественном происхождении классов с разными функциями. Например, ланский епископ Адальберон в стихотворении, обращенном к французскому королю (начало XI в.), писал, что в «тройственном доме божьем» одни «молятся», другие «сражаются», а третьи «трудятся» и все эти сословия «едины» и «разделение их непереносимо»².

Подводя итоги рассмотрению развития классового общества в недрах первобытнообщинного строя, Энгельс выделял главное — общественное разделение труда: «Родовой строй отжил свой век. Он был взорван разделением труда и его последствием — расколом общества на классы. Он был заменен *государством*»³.

Как мы видели, в поисках новых социальных связей, которые могли бы заменить подорванные и ставшие неэффективными родоплеменные отношения варварского общества, люди вступали в группы, дававшие им защиту и помощь и основывавшиеся либо на равенстве, либо на подчинении и господстве. В гильдии или в союзе побратимов индивид находил некоторые средства для защиты своей личной свободы; но подобная корпорация не избавляла его от гнета раннефеодального государства и вряд ли могла предотвратить утрату им экономической самостоятельности. В защитные гильдии могли входить преимущественно люди, занятые неземледельческим трудом, — торговцы, воины, моряки. Вступая под власть сеньора, индивид утрачивал личную и имущественную независимость, но зато обретал покровительство и гаран-

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 20, стр. 293.

² Adalberonis carmen ad Rotbertum regem Francorum. J. P. Migne. Patrologiae cursus completus. T. CXLI. Paris, 1853, col. 781—782.

³ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 21, стр. 169.

тию от посягательств всех других магнатов и государства. Под властью сеньора складывались «оптимальные» условия для занятий крестьянина сельскохозяйственным трудом. Развивавшееся в этот период разделение общественных функций сливалось с интенсивным формированием новых социальных связей в единый процесс феодализации — процесс создания тесных мирков сеньориального господства профессиональных воинов и духовных лиц над крестьянством.

Итак, ни в коей мере не отрицая факта прогрессирующей имущественной дифференциации, шедшей в обществе дофеодального и раннефеодального периода, и прямого обнищания части свободного населения, мы все же не в этих фактах видим основной источник превращения широких слоев свободных в зависимых, в держателей земли от крупных землевладельцев. Превращение свободных соплеменников в крестьян, в непосредственных производителей, поглощенных сельскохозяйственным трудом, не оставлявшим им возможности и средств для активного участия в политической жизни, в войнах и суде, делало неизбежным оттеснение их от исполнения этих общественных функций и концентрацию их в руках военного и управляющего класса феодальных собственников. Иными словами, формирование крестьянства — не результат развития феодальных отношений, а причина их генезиса. По своей социально-экономической природе крестьянство, раздробляемое самим производством, представляет собой класс, не способный к самоуправлению, к самостоятельному активному участию в общественных делах; его кто-то должен представлять, выражать его интересы. В условиях раннего средневековья эту функцию неизбежно принимала на себя королевская власть, подчинявшая себе крестьян и сплачивавшая вокруг себя вооруженную часть общества — дружинников, служилых людей, а также духовенство. Классовое разделение функций здесь неизбежно приобретало характер феодальный.

Общественное разделение труда между классом крестьян и военным и управляющим классом феодалов — универсальное явление средневековья; конкретные его формы в разных странах были в высшей степени различны. В то время как во Франкском государстве это разделение общественных функций зачастую происходило путем самоотдачи крестьян под власть господ, в виде пре-

кария и коммендации, в Англии оно осуществлялось прежде всего при посредстве королевских раздач целых деревень под власть церкви и служилых людей. Пожалования на правах бокленда¹ вели к установлению такого отношения между обладателем пожалования и населением бокленда, при котором крестьяне работали на магната, снабжали его средствами, необходимыми для содержания свиты и выполнения военной службы.

В этом варианте развития феодальных отношений под властью магната оказывались сразу группы крестьян — подчас жители целой деревни, даже нескольких деревень. Впрочем, нередко то же самое наблюдалось и в Германии — в результате пожалований иммунитета над округами (вспомним «оттоновские привилегии»). В Скандинавии институтом, во многом близким к англосаксонскому бокленду, была вейцла. Право сбора «кормления» с жителей того или иного округа, которое принадлежало королю, могло быть передано им его приближенному, служилому человеку. В отличие от Англии, где бокленд жаловали навечно, в Скандинавии вейцлу передавали лишь на срок, обычно на срок жизни пожаловавшего и получателя пожалования. Это — существенное отличие, ибо в таких условиях господа-лендрманы и другие владельцы вейцл не могли закрепить пожалованное владение за своей семьей, так сказать, превратить бенефиций в феод. Поэтому они оставались под постоянным контролем королевской власти. Другое отличие заключалось в том, что скандинавские бонды не утрачивали личной свободы и, будучи подвластными владельцу вейцлы, сохраняли свою правоспособность. Но существо отношения было тем же самым, что и в Англии: под властью владельца вейцлы находились крестьяне, своим трудом державшие его и обеспечивавшие тем самым возможность несения им военной службы. И здесь, следовательно, происходило общественное разделение труда между классом профессиональных воинов и классом трудящихся. В Скандинавии это разделение социальных функций было неполным, крестьяне не были совершенно устранены из сферы управления, суда и военного дела, но классом, который по преимуществу концентрировал в своих руках эти функции, было рыцарство, фрельсы — как их

¹ См. выше, гл. I, § 1.

именовали в Швеции и Дании, свободные люди, т. е. освобожденные от уплаты налогов, получившие право присваивать эти поступления с подчиненных им бондов и использовавшие их для исполнения рыцарской службы. По нашему мнению, неполное освобождение норвежских бондов от общественных функций, не связанных с их производственной деятельностью, явилось одним из источников застоя крестьянского хозяйства и экономического развития страны в целом в XIII—XIV вв.¹

Германский король Генрих Птицелов, заботясь о создании в Саксонии военно-оборонительной системы, переселил в крепости воинов из числа сельских жителей (*milites agrarii*), заставив крестьян снабжать их продовольствием². В данной связи не имеет решающего значения вопрос о том, были ли эти воины крестьянами или королевскими министерялами³, — существенно то, что королевская власть проводила политику разделения общественных функций между профессионалами-воинами и сельским населением, ставя крестьян на службу зарождающемуся рыцарству.

Еще раньше франкские государи, подчинив Южную Галлию, наделяли землями своих вассалов. В X в., когда в этих областях Франции появилось большое число крепостей с гарнизонами *milites*, последние получали продовольствие от жителей окружавшей местности. В более поздний период эти территории превратились в феоды знатных владельцев крепостей⁴.

Феодализм на ранней стадии характеризуется строем вооруженных дружин, живущих за счет эксплуатации сельского населения. Дружины имеют тенденцию организовываться в иерархию во главе с монархом. Власть представителя военного класса над крестьянами, которые дают ему средства к жизни, для вооружения и содержания его собственной дружины, распространяется обычно и на

¹ См.: А. Я. Гуревич. Основные этапы социально-экономической истории норвежского крестьянства в XIII—XVII вв. В сб.: «Средние века», вып. XVI, 1959.

² *Widukindi monachi Corbeinsis Rerum gestarum Saxonicarum libri tres*. I, 35. Ed. G. Waitz — K. A. Kehr. Hannoverae et Lipsiae, 1904.

³ См.: Н. Ф. Колесницкий. К вопросу о германском министерялите X—XII вв. В сб.: «Средние века», вып. 20, 1961, стр. 35.

⁴ A. R. Lewis. The Development of Southern French and Catalan Society 718—1050. Austin, 1965, p. 240, ff.

их землю; в этих случаях он выступает в качестве собственника земли своих крестьян. Но, как мы уже говорили, право собственности феодала на землю в период раннего средневековья было производным от его власти над населением. Крестьяне не утрачивали своих наделов и продолжали вести на них хозяйство и под властью феодала. Они по-прежнему тесно связаны с землей, независимо от того, прикреплены они к ней или нет, они — ее фактические обладатели, под какими бы «феодальными вывесками» ни скрывалось это отношение¹.

Намеченными выше основными линиями процесс феодализации в Европе, разумеется, не исчерпывался. В каждом отдельном варианте он приобретал свои неповторимые черты, обусловленные всей конкретной совокупностью местных условий. Нам хотелось указать прежде всего на общие социологические предпосылки генезиса феодализма, делавшие неизбежным переход от «дофеодальной» свободы к феодальной зависимости. Но для правильного понимания исторической перспективы, в которой совершался этот переход, необходимо остановиться на особенностях соотношения свободы и несвободы при феодализме и на самом содержании этих понятий в средние века.

§ 2. «НЕСВОБОДНАЯ СВОБОДА»

Свобода и несвобода занимают особое место среди центральных категорий социальной действительности раннего средневековья, имеющих прямое отношение к процессу становления феодализма. Как и к понятию собственности, к этим понятиям совершенно необходим строго исторический подход. Нет ничего более ошибочного, чем перенесение понятия свободы, выработанного одной эпохой, в иную историческую эпоху. Современное понятие свободы предполагает независимость от кого бы то ни было. Отсюда устойчивое сочетание почти синонимов «свобода и независимость»; свобода понимается как самоопределение. Далее, в содержание свободы входит ничем не ограниченное волеизъявление индивида, возможность располагать собой и «поступать так, как хочет».

¹ См.: К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 23, стр. 729.

ся», свобода воли. Понимание свободы, сложившееся в новое время, включает идею всеобщего равенства и демократии; вспомним нерасторжимое единство лозунгов буржуазных революций «свобода, равенство и братство». Но подобное понимание свободы не имеет ничего общего — ни в сфере социально-политической, ни в сфере духовной — с пониманием свободы в средние века. Неверно было бы применять к обществу раннего средневековья и категории свободы и рабства, как они выработались в античном обществе, хотя в пережиточной форме они могли в какой-то мере сохраняться и после краха Римской империи.

Средневековое общество, строившееся на неравенстве и зависимости, тем не менее не было царством несвободы. Лишь при первом и очень грубом приближении оно делится на свободных и несвободных: подобное расчленение не охватывает всех многообразных, разноплановых и текучих социально-правовых градаций этого общества, постоянных колебаний и переходов между свободой и несвободой. Когда мы говорим о свободе в средние века, то необходимо всякий раз ставить вопрос: чья это свобода — дворянина, бюргера, крестьянина, так как содержание и смысл свободы каждого из них были различны. Далее возникает вопрос: какова степень этой свободы, — она всякий раз особая. Наконец, очень важно выяснить: по отношению к кому ее обладатель свободен? Ибо абстрактной категории «полной», или «абсолютной», свободы, «свободы вообще» средневековые не знало, так же как была ему чужда категория «полной» несвободы. Этому обществу присущи бесчисленные ступени и оттенки свободы и зависимости, привилегированности и неполноправности. Были люди более и менее знатные, более и менее свободные.

В период, когда феодальное общество еще только складывалось, изменения свободы происходили в двух основных направлениях. С одной стороны, широкие слои мелких владельцев и свободных соплеменников, втягивавшихся в зависимость от магнатов, деградировали в социально-правовом отношении; с другой стороны, несвободные приобретали частичную правоспособность. Можно допустить, что в результате этих изменений обе группы сближались: превращение бывших свободных в зависимых держателей и испомещение бывших несвободных на

наделах вело к ликвидации некоторых существенных различий между ними. Они занимали теперь одинаковое место в системе производства. Но делать отсюда вывод о том, что все крестьяне, будь то пришедшие в упадок свободные либо отпущенные на волю несвободные, слились в процессе феодализации в единую массу «крепостных», людей, по отношению к которым феодалы обладали «неполной собственностью», было бы неверно.

На всех стадиях истории феодального общества сохраняется многообразие степеней зависимости. Средневековое крестьянство всегда разбито на многочисленные социально-правовые прослойки, разряды и группки, каждая со своим, ей присущим статусом, правами и правовыми ограничениями. Сколь ни скромны были правовые возможности крестьянина, сколь ни сильна была его зависимость и подчиненность господину, за ним признавались какие-то права, имущественные и личные.

Феодальное общество основывается на жестокой эксплуатации класса трудящихся крестьян. Но в отличие от рабовладельческой эксплуатации древности, средневековая эксплуатация зависимых крестьян обставлена правовыми нормами и обычаями. Средневековому праву чуждо понимание человека как вещи, существовавшее в римском праве применительно к рабам. И господин и зависимый в средние века — оба субъекты, однако с различными правами и обязанностями. Крестьянин, считавшийся несвободным по отношению к своему господину, не был таковым же в отношении третьих лиц: *servus* одного, но *ab aliis liberrimus*. В то время как в древнем мире часть людей стояла вне права и была лишена какой бы то ни было свободы, в средние века понятия свободы, достоинства, статуса (*libertas, dignitas, status*) могли применяться не только к людям, но даже к вещам: к церквям, к землям и т. п. Имелась в виду совокупность прав, относящихся к владению или церковному учреждению. Надел имел свой статус, зачастую отличавшийся от статуса его держателя («ингенуильные», «литские», «сервилльные» мансы); земля пользовалась «правом» не платить подать; серв, вступив на «свободную землю», получал освобождение.

Средневековье не знает категории «свободы вообще», свободы, не связанной с конкретными индивидами или группой лиц. *Libertas* — это свобода данного индивида, отличающаяся от свободы другого. Сознание средне-

вековых людей лишено представления о равенстве прав. Здесь действует принцип *sum cuique* — «каждому свое». На протяжении всего средневековья феодальные юристы постоянно были заняты скрупулезными изысканиями, направленными на установление статуса разных групп свободных и зависимых. Дело в том, что статус людей, принадлежавших к одной социальной категории, изменялся с течением времени и от одной местности к другой. Как не было единого понятия свободы, так отсутствовало и единое понимание несвободы, — его содержание изменялось, было текучим и противоречивым.

Например, французский серваж в IX в. отличался от серважа в X—XII вв., а последний — от серважа более позднего времени, причем всякий раз термином *servus* (*serf*) покрывались весьма неоднородные отношения и разные категории крестьян. «Есть много состояний серважа», — писал в конце XIII в. французский юрист Боменуар. Юридическое положение сервов было столь неоднородным и признаки серважа в такой мере варьировали, что современные специалисты не могут достигнуть единства в определении этого важнейшего средневекового французского института — единых критериев для него невозможно установить. Несмотря на норму права, гласившую, что все приобретенное сервом принадлежит его сеньору (римская традиция, трактовавшая имущество рабов как собственность их господ, здесь несомненна), в действительности сервы вступали во всякого рода имущественные сделки, приобретали и отчуждали не только движимое имущество, но и землю, могли владеть даже аллодами¹. Термин *servus* восходит к античности: так называли раба. Однако средневековый серв — отнюдь не раб. Он — юридический субъект; при всей ограниченности своей правоспособности он обладал рядом прав, которыми пользовались свободные люди. Этим он радикально отличался от раба древности или раннего средневековья. В отличие от другой категории французских крестьян — «вилланов», повинности которых лежали на земле держания и которые имели право покинуть своего

¹ См.: *Ch.-E. Perrin. Le servage en France et en Allemagne. «Relazioni del X Congresso Internazionale di Scienze Storiche». Vol. III. Firenze, 1955, p. 213.*

господина, сервы не пользовались свободой в выборе сеньора, а их повинности имели наследственный характер и лежали на их личности. Кроме того, сервы были формально лишены права наследования имущества и свободы брака и должны были платить соответствующие пошлыны господину. Тем не менее сервы — не крепостные: как уже упоминалось¹, в XI — XIII вв. ни в одном документе среди признаков серважа не упоминалось прикрепления к земле. Сервы находились в «телесной зависимости» (*hommes de corps*) от своих господ, т. е. лично были с ними связаны, подчинялись их власти и юрисдикции, но не считались, подобно римским колонам, *servi glebae*. Находясь в зависимости от сеньора, серв мог приобрести держание на стороне, но степень его зависимости от других землевладельцев была меньшей, и они не могли требовать от него платежей, являвшихся признаком личной подвластности и бросавших на его личность «пятно» несвободы: эти повинности по-прежнему взыскивал с него основной сеньор. Таким образом, будучи противопоставлены свободным (Бомануар говорил о трех состояниях людей: «благородных» — *gentilisee*, «от рождения свободных» — *franc naturellement* и сервах), сервы в то же время не были ни рабами, ни крепостными. Возникает предположение, нельзя ли назвать сервов «полусвободными»? Симптоматично, однако, что это понятие в средние века не употреблялось. Серваж — особое, специфически средневековое социально-правовое состояние, в котором своеобразно переплетались черты свободы и несвободы. Качественные особенности положения сервов обуславливались в первую очередь, по-видимому, их непосредственной зависимостью, личной подвластностью сеньору².

Изменения в юридическом статусе крестьян отражали их социально-экономическое положение и соотношение классовых сил в обществе, но лишь в конечном счете, а не непосредственно, так как на статус держателей влияли и многие другие обстоятельства, помимо способа и степени их эксплуатации: политическое положение в стране, общая расстановка общественных классов, способность господствующего класса контролировать положение кре-

¹ См. выше, гл. I, § 1.

² См.: *M. Bloch. Mélanges historiques*. T. I, p. 305, 315, 356, 373.

стьян, наличие или отсутствие свободных земель, плотность населения, правовая традиция, влияние римского права и многое другое.

Юридический статус и фактическое положение держателя сплошь и рядом были различны. В результате одного и того же человека можно было назвать одновременно и несвободным, и свободным. Так, в одном завещании VIII в. упоминались «два раба, один из коих свободен (*liber*), а другой — раб (*servus*)». В XI в. Ключинский монастырь получил в дар земли с рабами и рабынями (*cum servis et ancillis*), среди которых были свободные (*liberi*) и рабы (*servi*)¹.

В отдельные периоды в некоторых странах Западной Европы наблюдается тенденция к усилению зависимости крестьян, к их прикреплению, т. е. всякого рода ограничению их юридических возможностей и, в частности, их права покинуть землю и выйти из-под власти господина, — то, что называют «закрепощением». Тем не менее, как уже подчеркивалось выше, комплекс явлений, известных под названием «крепостничества», остался в целом чуждым Западной Европе не только в эпоху становления, но и в последующую эпоху расцвета феодализма; о крепостничестве в собственном смысле можно говорить лишь применительно к Восточной Европе конца средних веков. Эта оговорка очень важна, так как понятия «закрепощение», «крепостничество», «крепостное право» содержат в себе указания на полное бесправие крестьян, на их подчиненность произволу господина. Вспомним слова В. И. Ленина о том, что крепостное право в России почти ничем не отличалось от рабства. Но именно этого и не было в Европе периода раннего средневековья, где в полурабской зависимости находились одни лишь дворовые.

Как правило, проводилось разграничение между личными и имущественными правами крестьянина: они были ограничены в разной мере, — и, следовательно, между правом сеньора на личность и на имущество зависимого крестьянина. Даже если господин обладал широкой властью над крестьянином, эта власть имела определенные правовые рамки и не была произвольной. Английские вилланы в XIII в. были несвободны и бесправны по отношению к своим лордам, но в отношениях с посторонними

¹ См.: *R. Boutruche. Seigneurie et féodalité. Paris, 1959, p. 128, 307.*

лицами они обладали значительными правами. Английский юрист Брактон, писавший в период наивысшего расцвета вилланства в Англии, утверждал, что все приобретенное вилланом принадлежит его господину. Но вместе с тем он признавал: приобретенная вилланом земля считается как бы его собственностью, если лорд не «наложит на нее свою руку», и виллан может ею распоряжаться как своей и вчинять относительно ее судебные иски. Это признание особенно ценно в устах феодального юриста, который, следуя принципам римского права, приравнивал средневекового виллана к античному рабу¹.

Естественно, сейчас речь идет о праве, о юридическом статусе крестьянина, а не о тех фактических нарушениях и злоупотреблениях сеньоров своей властью, которые обычно происходили в феодальной действительности. Право и жизненная реальность всегда в той или иной степени расходятся, между ними существуют противоречия, но это обстоятельство не превращает права в пустую фикцию. Во всяком случае, в средневековом обществе право играло колоссальную роль в социальной жизни, не только отражая — в идеализированной, нормализованной форме — реальное положение, но и воздействуя на жизнь общества.

Представление о том, что в средние века господствовало «право сильного» или даже «кулачное право», — по меньшей мере односторонне. Господство «права сильного» наступало обычно в моменты нарушения нормального течения жизни: в периоды войн, в обстановке чужеземного господства, при обострении классовой борьбы и в особенности когда феодалы учиняли расправу над побежденными крестьянами; «право сильного» ощущалось на большой дороге, в других мало доступных для правосудия местах. Но «право сильного» было не правом, а прямым насилием, которое современниками так и осознавалось. То было вопиющим нарушением закона, права, нормы и должно было подвергнуться искоренению.

Говоря о средневековом праве, нужно иметь в виду следующие обстоятельства. Во-первых, средневековое общество, консервативное в самой своей основе, базируется на обычаях, ориентировано на «старину», и всякое измене-

¹ Select Passages from Bracton and Azo. Ed. F. W. Maitland. London, 1895, f. 5, 25.

ние или нарушение традиции воспринимается в нем как нечто неестественное, чуждое его природе; нарушенное равновесие должно быть возможно скорее восстановлено. Во-вторых, средневековое сознание ставит закон выше людей, считает, что право вообще не создается людьми: оно представляет собой естественную часть миропорядка, это божье установление; законодатель, собственно, лишь «отыскивает», восстанавливает право уже существующее, но, возможно, забытое либо искаженное, но не создает нового права. Право обладает такими неотъемлемыми в глазах средневекового человека качествами, как старина и справедливость: право всегда «старое» и «доброе». Первое из этих качеств предполагает второе и наоборот¹. Записавший «Саксонское зеркало» Эйке фон Репгов прекрасно выразил средневековое отношение к праву: «век господства несправедливого обычая ни на миг не может создать права»². Право рассматривается в этом обществе (во всяком случае, в теории) как воплощенная мораль.

Наконец, в отличие от римского права, представлявшего собой законченную, согласованную систему, дававшую предустановленную форму для практического поведения, средневековое право формировалось эмпирическим путем, на основе бесчисленных локальных обычаев, прецедентов и отдельных казусов и не сложилось в единое и непротиворечивое целое. Для него характерны не столько общие нормы, сколько частные привилегии и установления, вызванные к жизни конкретными потребностями момента. Эта особенность средневекового права нередко порождает у современного человека впечатление, что в средние века господствовал произвол. Но такое впечатление односторонне. Общество не может не строиться на праве. Разумеется, в классовом обществе право отражает в первую очередь интересы господствующего класса, но эти интересы всегда оформляются юридически. В конце концов в этом заинтересован и сам господствующий класс.

На протяжении всего периода раннего средневековья крестьянство выступало в защиту «старины», обычного

¹ См.: *F. Kern. Recht und Verfassung im Mittelalter. «Historische Zeitschrift», 120. Bd., 1919.*

² *Sachsenspiegel. Landrecht. Hrsg. von K. A. Eckhardt. Berlin — Frankfurt, 1955, S. 228.*

права, даже и тогда, когда фактически оно боролось за новые права. В народных выступлениях этого периода мотив отстаивания старинных вольностей был одним из ведущих. Идеал старинной народной свободы воодушевлял крестьян на сопротивление господам. Остававшееся свободным крестьянство понимало свободу как жизнь по собственному праву и свободу от податей как противоположность сеньориальному господству. Борьба зависимых крестьян за облегчение своего положения под властью сеньоров и за сокращение эксплуатации также осознавалась ими как борьба за восстановление прежних вольностей. И эта борьба давала определенные результаты. Сколь приниженным ни было положение зависимых крестьян, за ними приходилось все же признавать какие-то права. Поскольку феодальная эксплуатация основывалась на наделении крестьянина земельным участком, феодал должен был позаботиться о том, чтобы крестьянин мог вести свое хозяйство, более того, чтобы у него существовала хотя бы минимальная заинтересованность в его обработке. При господстве произвола и грубой силы, когда отсутствуют элементарные гарантии сохранения за производителем надела и необходимого продукта его труда, нормальное феодальное воспроизводство попросту немыслимо. Мы уже не говорим о таком факторе, оказывавшем воздействие на положение крестьян, как соперничество между феодалами из-за рабочей силы, когда крупные землевладельцы стремились переманить к себе крестьян, создавая для них более льготные условия, чем их прежние господа.

Права крестьян не столько фиксировались законом, сколько закреплялись обычаем. Но обычай был разным в разных частях страны и варьировал даже в пределах отдельной области. Положение крестьян никогда не nivelировалось. Они делились на многочисленные юридические категории и разряды. Их статус, сочетавший элементы свободы и несвободы, был различен даже в один и тот же период. Поэтому попытки определить его для крестьян целой страны (как это делали, например, английские феодальные юристы в XII и XIII вв.) не могли отразить реальной пестроты социально-правовых категорий крестьянства.

Проблема личного статуса — одна из центральных проблем права в средние века. Может быть, как раз здесь

мы затрагиваем главную особенность феодального права. Если юридические проблемы античности концентрировались вокруг имущественных и политических прав граждан и управления государством; если в буржуазном обществе право преимущественно служит задаче регулирования имущественных отношений, то в обществе феодальном правовые усилия направлены в первую очередь именно на вопросы юридического статуса лиц, определения их сословных прав и обязанностей, их правовых возможностей и взаимоотношений, того, что в Англии в конце англосаксонского периода было названо *rectitudines singularium personarum*. Поземельные отношения неразрывно связаны с личными, сословными отношениями и нередко от них получают свою окраску и самый смысл.

Как возникли эти специфические черты средневекового права? Нужно, по-видимому, разграничивать основу, на которой оно сложилось, и питавшие его источники. Основой формирования сословного права средних веков и, в частности, спектра градуированных свобод и зависимостей (может быть, лучше сказать: свободы-зависимости) явилась сама действительность феодального общества, характеризующегося такой системой социальных отношений, при которой люди объединены в замкнутые группы, сочлененные между собой иерархическими связями. В каждой из таких групп (общин, корпораций, цехов, братств, орденов, союзов, гильдий), а также в каждом сословии, правовом разряде, ранге существует относительное равенство; членство в группе, союзе гарантирует их участникам сохранение присущего им статуса и определенной степени свободы и правоспособности. Но эти группы, построенные «по горизонтали», общаются с группами другого статуса «по вертикали»: между ними уже нет равенства; члены разных сословных групп находятся между собой в отношениях службы, зависимости, неравенства. Строй крупного землевладения, эксплуатирующего крестьян, и военная вассальная организация определяют основные черты всей этой системы.

Что касается источников средневековых отношений свободы-зависимости, то нужно указать по меньшей мере на два таких источника. Первый — градуированная свобода варварского общества, в котором право неразрывно связывалось с его носителем — общественной группой.

Каждая из групп варварского общества — свободные, знатные, полусвободные — обладала своим правом, специфической совокупностью прав и обязанностей, преимуществ или ограничений, и никакого абстрактного, в равной мере ко всем членам общества приложимого права не существовало¹. Это представление о единстве статуса и его обладателя и о правах отдельного лица как члена группы сохранилось и в средние века, где в течение долгого времени продолжал действовать принцип персонального права: каждого судили «по его закону»², а общего права для всей страны и всех подданных государства не было.

Вторым источником, определившим специфику средневекового права, было христианство с его пониманием проблем свободы и несвободы человека. Неверно, конечно, считать, что христианская религия несовместима с общественной несвободой и что церковь боролась против рабства. Средневековые богословы отмечали разительный контраст между христианским учением о равенстве людей перед богом и об освобождении их в результате искупительной жертвы Христа, с одной стороны, и социальной действительностью, с другой: «по высокому закону небес все люди свободны, но человеческий закон знает рабство». Это противоречие объясняли грехопадением первых людей, которое по воле божьей должно быть искуплено земными страданиями рода человеческого. Смирение перед творцом, служение ему с любовью — залог грядущего освобождения; истинная свобода — на небесах. Подобно этому и долг серва — повиноваться, слава же господина — освобождать его от неволи. Учение церкви благоприятствовало закреплению зависимости крестьян от господ. Но вместе с тем в рабстве видели неестественное состояние человека, созданного богом свободным и оказавшегося в несвободе вследствие конфликта с богом. Ниже мы вернемся к вопросу о влиянии христианства на понимание свободы в средние века. Сейчас нужно лишь отметить, что из взаимодействия обоих названных компонентов — представления варваров о градуированности личных прав и христианского учения об отношении человека с богом — и развились средневе-

¹ Подробнее см. гл. II, § 2.

² *Capitulare de villis*, 4.

ковое феодальное право и понимание свободы и несвободы с их соответствующими градациями как ступеней в социальной иерархии.

В марксистской литературе проблема средневековой свободы всесторонне не разрабатывалась, хотя отдельные аспекты ее затрагиваются в различных исследованиях. Для понимания этой проблемы особенно существенное значение имеют идеи А. И. Неусыхина о позитивном содержании понятия свободы как реальной совокупности прав и обязанностей членов варварского общества, о нерасчлененном поначалу единстве прав и обязанностей, что дает основание считать эту свободу равнозначной полноправию. Дальнейшую эволюцию свободы и ее дифференциацию на привилегированность одних и неполную («ущербную») свободу других, начинавшую сближаться с несвободой, А. И. Неусыхин связывает с изменениями в отношениях собственности на землю: утрата аллодов все возрастающей частью членов феодализировавшегося варварского общества и, на другом полюсе, концентрация земельной собственности возвышавшимися социальными группами вели к возникновению многозначности и градуированности содержания свободы, характерных для феодализма¹. Эти мысли представляются чрезвычайно плодотворными. Они открывают широкую перспективу для дальнейшего исследования содержания свободы в средневековом обществе. В частности, точка зрения, согласно которой свобода соплеменника в варварском обществе имела определенное позитивное содержание, а не определялась лишь негативно (как противоположность рабству), дает ключ к расшифровке многих проблем социальной истории раннего средневековья. Не менее важна идея градуированности и многозначности свободы в эту эпоху.

Мысль А. И. Неусыхина о характере связи свободы и собственности нуждается, как нам кажется, в дальнейшей проверке. А. И. Неусыхин видит в этой связи причинное отношение: изменение собственнических прав влечет за собой изменение прав личных; последние определяются первыми. Тот, кто обладал земельной собственностью в варварском обществе, был свободен и

¹ См.: А. И. Неусыхин. Возникновение зависимого крестьянства..., глава I.

полноправен. Тот, кто утратил свое земельное владение, не мог сохранить независимости и, следовательно, лишился старинной народной свободы, деградировал, стал неполноправным. Однако можно представить себе это отношение и несколько иначе. Дело в том, что как право обладания землей, так и личные права человека были в конечном счете обусловлены принадлежностью его к коллективам: к роду, семье, племени. Вне этих коллективов не могло быть ни свободы, ни владельческих прав индивида, и поставленный вне них (т. е. «вне закона») преступник, изгой, лишился не только прав на землю и прав свободного соплеменника, но и права на жизнь: всякий мог его убить, как зверя. Таким образом, и владельческие права, и свобода-полноправие члена варварского общества были функцией его принадлежности к этому обществу и к образующавшим его ячейкам.

Между собственностью и свободой в период раннего средневековья вряд ли существовала прямая и обязательная причинно-следственная зависимость. Уже упоминалось, что люди, находившиеся в личной зависимости от сеньоров, подчас могли приобретать земельную собственность и даже иногда имели право ею распоряжаться, что отнюдь еще не изменяло их несвободного статуса. С другой стороны, лица, лишенные земли, могли сохранять свободу, а вступив на службу к сеньору в качестве военных слуг, приобретали новые права и привилегии. Таким образом нередко возвышались несвободные, достигая более благоприятного юридического статуса, чем свободнорожденные. Наконец, признание свободным человеком власти над собой господина или покровителя не всегда и не обязательно влекло утрату им прав на свою землю: английские сокмены были в судебном отношении подчинены лордам, однако те не имели никаких прав на их надель. Видимо, свобода и собственность в феодализировавшемся обществе находились в более сложном и противоречивом отношении. Аллод, видоизменившись, не исчезает и при феодализме, тогда как старая народная свобода, существовавшая в варварском обществе, не пережила его и сменилась запутанной, но имевшей свою логику системой личных прав, обязанностей, зависимостей, градаций и служб, характерных для феодального строя. «Дофеодальная» свобода частично, в измененном виде сохранялась преимущественно лишь

на «периферии» феодального мира — в Швейцарии, во Фрисландии, в Исландии, в других скандинавских странах.

Проблема свободы в средневековом обществе еще более осложняется тем, что в понятие свободы входило не только социально-правовое, но и морально-религиозное содержание. Известно, что право, выражая господствующие производственные отношения и отношения собственности, вместе с тем несет на себе отпечаток тех моральных ценностей, которыми живет и руководствуется общество. Поскольку же в средние века этические нормы были одновременно и религиозными истинами, то религиозное понимание идеи свободы не могло не накладывать отпечаток и на ее правовое толкование.

Генезис феодализма начинается в обществе, переживающем глубокий социальный и духовный кризис. Переход варваров от язычества к христианству, сколь поверхностным поначалу он ни был, в конечном счете влек за собой перестройку всей картины мира, переоценку традиционных ценностей, выдвижение в сознании людей новых моральных категорий. Если к проблеме изменения формы религиозного сознания подойти как к проблеме сдвига в общественном самосознании, то мы увидим, что победа христианства означала переосмысление значимости человека и его места в мире.

В язычестве божества, воздействуя на жизнь людей, вместе с тем и сами были подвластны безличной необходимости, силе, стоящей над ними и управляющей всем космосом, — року, судьбе. Сознание неизбежности космического порядка требует от человека беспрекословного ему повиновения и выполнения общественных предписаний; своеволие, личная инициатива могут нарушить гарантированное всеобщей регламентацией равновесие, необходимое для благополучия мира и общества (между ними осознанной грани не существовало). В «Прорицании вёльвы» — памятнике скандинавской мифологии, рисующем историю сотворения мира и предсказывающем его гибель и второе рождение, отразились взгляды людей в переломный период перехода от язычества к христианству. В день конца существующего мира погибнут и боги, подчиняясь неизбежной судьбе. В этой песне в единую мировую трагедию связываются моральный упадок людей и гибель богов, нарушивших клятвы и догово-

воры. Моральное равновесие социальной системы варваров рухнуло в ходе их переселений и завоеваний, столкновения с цивилизованным миром. Перед ними возникли новые проблемы, социальная жизнь чрезвычайно усложнилась. Традиционное обращение к мифу и привычному ритуалу не могло разрешить новых противоречий и подсказать поведение, которое соответствовало бы новой реальности. Все это неизбежно порождало кризис в сознании.

Языческие верования варваров соответствовали племенному строю: божества германцев были связаны с определенной местностью, на которую распространялись их могущество и покровительство, это были племенные боги. Представление о космосе строилось по образцу усадьбы, в которой проживал варвар.

Разрушение привычных племенных и кровных связей у варваров сделало их сознание доступным учению о равенстве людей перед богом. Христианство выдвигало новую систему отношений: человек — бог, в которой человек оказывался высшим творением бога, поставленным им в центре мироздания, а бог — свободным творцом, не подчиненным необходимости и ничем не связанным, руководствующимся лишь собственной волей и замыслом. В этом новом для варваров антропологическом понимании бога содержалось иное понимание человека и иное понимание его свободы. Признав свободу за богом, человек не мог не признать ценности свободы и для себя¹. Согласно христианскому учению, бог сотворил человека свободным, и самое его грехопадение — доказательство тому. Но первородный грех привел к утрате людьми свободы, они стали рабами своих страстей. Спасение человека достигается в форме милости божьей, получаемой, однако, по воле самого человека. Каждое человеческое существо представляет собой арену борьбы, ведущей к спасению или к гибели. Как достичь спасения? Христианство отвечало: путем подчинения богу. Чем вернее человек служит богу, чем более он отрекается от себя, тем он свободнее. В глубочайшем своем смысле свобода есть служение богу. Следовательно, свобода и

¹ См.: *G. Gusdorf. Signification humaine de la liberté. Paris, 1962, p. 81—82; E. Gilson. L'esprit de la philosophie médiévale. 2. série. Paris, 1932, ch. V.*

несвобода в сознании людей средневековья утратили метафизическую противоположность. Свобода стала предполагать подчинение, служение, верность; вера (*fides*) в бога понималась как верность (*fidelitas*) ему. Напротив, тот, кто не повинуется богу, кто мнит себя свободным, на самом деле — ниже всякого раба, он погиб. Земная свобода, по учению богословов, не подлинная свобода, — это лишь обманчивый образ. Истинные свобода и благородство заключаются в добровольном подчинении творцу. Для средневековых религиозно-этических конструкций, распространившихся и на право, характерно противопоставление «свободного рабства перед богом» (*libera servitus*) «рабской свободе мира» (*servilis mundi libertas*). Свобода исчезает с нарушением верности.

Естественно, христианская проповедь имела в виду внутреннюю, духовную свободу, свободу от греха («где дух божий, там и свобода»). Но религиозное учение об освобождении через смирение, самоотречение и службу давало этическое обоснование новому общественному взгляду на свободу. Из этой пары понятий: «служба» и «свобода» именно служба доминирует в христианском сознании. Принцип службы и иерархии пронизывает все отношения, организует весь социальный и духовный мир средневекового человека.

Свобода в средневековом обществе — это не независимость, не самоопределение. «Иметь сеньора нисколько не противоречило свободе»¹. Быть свободным не значит ничему и никому не подчиняться. Напротив, чем свободнее человек, тем в большей мере он подчинен закону, обычаю, традиционным нормам поведения. Действительно, раб не подчинен закону, тогда как свободный человек обязан ему повиноваться. В «Саге об Олафе Святом» Снорри Стурлусон рассказывает о том, что король Норвегии запретил вывоз зерна из одной области страны в другую. Знатный человек Асбьярн, нуждавшийся в зерне, приехал к своему знатному родичу Эрлингу с просьбой продать ему зерно. Тот отвечал, что не может этого сделать, так как король запретил торговлю зерном, и не принято, чтобы слово короля нарушалось. Но Эрлинг предложил выход: «Мне кажется, мои рабы должны иметь зерно, так что ты можешь купить сколько нужно.

¹ M. Bloch. La société féodale. La formation des liens de dépendance. Paris, 1939, p. 398—399.

Они ведь не состоят в законе или праве страны с другими людьми»¹. Здесь отчетливо проявляется средневековое сознание того, что закон — это связь людей (связь как объединение и как ограничение); закон существует, однако, не для всех; несвободные не связаны его предписаниями, тогда как для свободных и тем более для знатных они обязательны. Оказывается, то, что не положено делать свободному, может безнаказанно совершить несвободный. Можно говорить о «свободной несвободе», и, соответственно, о «несвободной свободе» в средние века.

Рыцарь, дворянин свободнее крестьянина, простолюдина. Но эта свобода благородного выражается не только в обладании привилегиями, которых лишен неблагородный, но и в необходимости подчиняться целой системе правил и ограничений, ригористичных предписаний, этикета, не имеющих силы для простых людей. Свобода состоит, следовательно, не в своеволии или беззаконии и не в облегчении строгости закона. Свобода состоит в добровольности принятия на себя обязательства исполнять закон, в сознательности следования его нормам. Рыцарь или священник свободно, по доброй воле вступает в отношения с сеньором или с церковью, принимая на себя определенные обязательства. Всякий раз принятие этих обязательств облекается в форму индивидуального акта: омажа, присяги, заключения договора, посвящения, пострижения, сопровождающихся публичной церемонией. Наоборот, несвобода серва, или, что то же самое, «свобода» его от закона — недобровольна: она унаследована от предков, ибо он несвободен «по крови», от рождения, он серв уже в утробе матери, и выбора ему не предоставлено. Серв живет не по своей воле и не по закону, а по воле господина. Здесь действует произвол, но не закон. Брактон не нашел более точного определения английского виллана, чем указание на то, что он не знает сегодня вечером, что велит ему господин делать завтра утром. Действительность не соответствовала этому определению, вилланы были подчинены поместному обычаю, фиксировавшему отношения между ними и лордом, и знали, какие повинности и в каком размере, когда и где должны исполнять. Но идея, что серв живет не по

¹ Heimskringla. II. Óláfs saga helga., kap. 117.

своей воле, а по воле другого, лучше всего выражала средневековые представления об основаниях свободы и несвободы.

То, что подчинение и зависимость не только не противоречили в этом обществе свободе, но и сплошь и рядом являлись ее источником, видно из положения несвободных слуг и министриалов, которые получили свободу и привилегии вследствие исполнения военной службы в пользу короля или других могущественных князей. В понятии «свободное рабство» (*liberum servitium*) для средневекового человека не было ничего противоречивого. Во Франкском государстве для сохранения и упрочения своей свободы многие искали покровительства у короля, вступая в личную от него зависимость: обладание лишь старинной народной («публично-правовой») свободой не гарантировало общественного положения.

Показательно направление, в каком происходило в период феодализации общества изменение содержания понятий, обозначавших зависимых людей. «Человеком» (*mann, homo*) в раннее средневековье называли несвободного; в более позднее время, когда стали оформляться отношения вассалитета, эти термины стали применять к свободным вассалам на господской службе. Точно так же древнеанглийский термин «*сniht*» (нем. *Knecht*), «раб», «слуга» затем приобрел значение «оруженосец», «рыцарь». Подобную же трансформацию претерпели термины «маршал», «сенешал», «майордом» и некоторые другие, первоначально обозначавшие рабов, слуг, а в феодальную эпоху ставшие титулами высших сановников. «Тэн» (*thegn*) из слуги превратился в знатного вассала короля. Термин «*баго*», «человек», «вассал» в феодальном обществе стал феодальным титулом. Эти изменения значений социальных терминов, вне сомнения, отражают сдвиги в общественной структуре. Во всех приведенных случаях эволюция термина свидетельствует о восхождении человека по социальной лестнице, о повышении его сословного статуса вследствие «благородной» службы сеньору¹.

¹ Ж. Кальметт предположил, что термин «*vassus*» представляет собой латинизированное кельтское *gwas* («человек»). *J. Calmette. La société féodale. Paris, 1927, p. 17.* В этом случае опять-таки ясно видно направление, в котором социальная действительность моделировала понятия.

Высокое общественное положение рыцарства в период раннего средневековья в значительной мере определялось службой, ее особым военным характером, а также наличием земельного владения и власти над людьми; хотя окончательное замыкание дворянства в наследственное сословие происходит в более поздний период, и в это время принадлежность к знатному роду имела немалое значение. Личнонаследственный статус преобладал в раннефеодальный период над социально-имущественным. Выполняемая общественная функция в большей степени влияла на социальное положение феодала, чем наличие у него земельных владений. В ряде областей Европы знать еще могла пополняться выходцами из других общественных слоев и не достигла той стабильности своего состава, которая делается для нее более характерной в период оформления феодальных сословий¹.

Можно отметить еще одно изменение в социальной терминологии: сдвиги в соотношении понятий «знатность» и «свобода», происшедшие в средние века. Во франкский период термин «nobilitas» подчас был эквивалентом «libertas»: тот, кто владел аллодом и не имел среди предков рабов, мог считаться nobilis, «благородным». Между тем в развитом феодальном обществе «свободными» — в полном смысле слова — именовались уже одни благородные, высшие вассалы, знатные сеньоры: в этом именно смысле применялся к баронам термин «liber homo» в «Великой Хартии вольностей». Вассалитет сливается со знатностью, а знатность — со свободой.

Таким образом, идея связи свободы со службой господину, с подчинением и зависимостью не ограничивалась одной сферой религиозно-этических представлений, она отражала реальную социальную практику складывавшегося феодального общества. Однако совершенно невозможно принять всерьез утверждение немецких историков Э. Отто и А. Вааса, что средневековая свобода вообще была возможна лишь в форме подвластности и имела своим источником господство короля или сеньора над свободным. Эти авторы игнорируют существование старой «народной» свободы, частично сохранившейся и в

¹ Замыкание знати в разных странах происходило не в одно и то же время и в неодинаковой мере.

феодалную эпоху¹. Но между свободой и зависимостью, при всей контрастности этих категорий для нас, в средние века установилась функциональная связь.

Другую особенность средневековой свободы составляло то, что она не имела вполне индивидуального характера. Обладать свободой в той или иной степени — значило принадлежать к группе, социальному слою, сословию, которое пользовалось определенными, только ему присущими правами, привилегиями, особым статусом, и в рамках которого все его члены были равными. Вне этого сословия соответствующие права не имели смысла и не существовали. Средневековая свобода — корпоративная свобода, регламентируемая правилами корпорации.

Итак, в период генезиса феодализма происходил не только упадок старой «народной» свободы соплеменников. Было бы неправомерным упрощением ограничиваться утверждением, что свобода сменялась зависимостью. Переход от «дофеодалного» строя к феодализму невозможно адекватно представить в категориях «упадка» или «подъема» в отношениях свободы (хотя поскольку античное рабство изжило себя и разлагалось, рабы поднялись в социально-правовом отношении). Средневековая свобода — не пережиток племенной свободы варваров, так же как и феодальная зависимость — не ослабленная форма рабства. Это иная по своему содержанию система социальных связей, качественно новые отношения свободы-зависимости, характеризующиеся множеством градаций и переходов.

* * *

Проблема свободы в раннефеодальном обществе приобрела в современной медиевистике особенно большое значение в связи с теорией «королевских свободных» (*Königsfreie*), развиваемой группой западногерманских историков, во главе которой стоит Т. Майер и которая представлена такими учеными, как Г. Данненбауер, К. З. Бадер, В. Шлезингер, И. Бог и другие. Вкратце

¹ См.: *E. F. Otto. Adel und Freiheit im deutschen Staat des frühen Mittelalters. Leipzig, 1937; A. Waas. Die alte deutsche Freiheit, ihr Wesen und ihre Geschichte. 1939.*

содержание этой теории сводится к следующему¹. Древнегерманское общество было не демократическим, как полагало большинство ученых в XIX в., а аристократическим; в нем господствовала знать, располагавшая землями, бургам, зависимыми держателями, остальное население находилось у нее в подчинении. Поэтому переход от германской древности к раннему средневековью не характеризовался каким-либо коренным переворотом в социальном строе: знать по-прежнему занимала в обществе господствующее положение. Более того, в эпоху Меровингов и Каролингов происходит не столько упадок свободного крестьянства, сколько его формирование.

Столь парадоксальная точка зрения объясняется тем, что некоторые сторонники этой теории вообще отрицают существование широкого слоя старосвободных или рядовых свободных людей (*Gemeinfreie*) в социальной структуре раннесредневековой Европы. «Независимый в правовом, сословном, хозяйственном отношениях «свободный крестьянин», самостоятельно трудящийся в своей усадьбе, представляет большую проблему или загадку социальной истории раннего средневековья, — пишет К. Босль, — говоря откровенно, его невозможно обнаружить, да его и нельзя включить в эпоху, основные черты и предпосылки которой для этого не подходят»².

Согласно теории «королевских свободных», свободное крестьянство начинает складываться во Франкском государстве благодаря политике королевской власти, заботившейся об укреплении своих позиций. С этой целью франкские короли создавали слой военных поселенцев, людей, наделенных землей и обязанных исполнять военную службу в пользу государства. Из числа литов, полу-

¹ Специальный критический разбор этой теории см. в статьях: А. И. Данилов, А. И. Неусыхин. О новой теории социальной структуры раннего средневековья в буржуазной медиэвистике ФРГ. В сб.: «Средние века», вып. 18, 1960, и Н. Ф. Колесницкий. Современная немецкая буржуазная историография о феодальном государстве в Германии (там же), а также в кн.: А. И. Неусыхин. Судьбы свободного крестьянства в Германии в VIII—XII вв., стр. 9—16.

² К. Bosl. *Frühformen der Gesellschaft...*, S. 161. Т. Майер не отрицает существования в средневековой Германии «старосвободных», но утверждает, что они были немногочисленны и не составляли самостоятельного слоя («сословия»). Th. Mayer. *Die Entstehung des «modernen» Staates im Mittelalter und die freien Bauern*. ZSSR, GA, 57. Bd., 1937, S. 279.

свободных и других неполноправных и зависимых людей, находившихся под личной властью и покровительством короля и получивших от него свободное состояние, создается слой *Königsfreie*. Расселение «королевских свободных» в пограничных районах Франкского государства и в завоеванных областях, освоение ими пустовавших до того земель, несение воинской повинности характеризуют их отношение к королю и накладывают решающий отпечаток на их правовое и общественное положение. «Королевские свободные» явились той социальной базой, опираясь на которую франкские монархи смогли проводить широкую внешнюю завоевательную политику и держать в подчинении знать. Однако раздаривание государями прав и власти над «королевскими свободными» светским и церковным магнатам и присвоение последними коронных доменов вели к ослаблению и исчезновению связи *Königsfreie* с королевской властью и к их растворению в широкой массе вотчинно-зависимых крестьян, сидевших на землях магнатов¹.

Таким образом, свобода крестьян в понимании историков этого направления оказывается продуктом королевской политики и функционально связана с государством — творцом социальной структуры и права. Свобода, по их утверждениям, предполагает господство и порождается им. Советские историки уже продемонстрировали научную несостоятельность теории «королевских свободных» и основанных на ней построений и исследовательских методов историков — ее приверженцев. Особое положение «королевских свободных» не засвидетельствовано ни «варварскими Правдами», ни картуляриями и формулами, ни полиптиками; истолкование источников историками школы Т. Майера тенденциозно и произвольно².

Нет никаких оснований соглашаться с тезисом об отсутствии в древнегерманском и в раннесредневековом

¹ См.: *Th. Mayer. Mittelalterliche Studien*. Lindau und Konstanz, 1960; *Das Problem der Freiheit in der deutschen und schweizerischen Geschichte*, hrsg. von Th. Mayer («Vorträge und Forschungen», II. Bd.). Lindau und Konstanz, 1955; *H. Dannenbauer. Herrschaft und Staat im Mittelalter*. Darmstadt, 1956; *Adel und Bauern im deutschen Staat des Mittelalters*, hrsg. von Th. Mayer. Leipzig, 1943; *I. Bog. Dorfgemeinde, Freiheit und Unfreiheit in Franken*. Stuttgart, 1956; *W. Schlesinger. Beiträge zur deutschen Verfassungsgeschichte des Mittelalters*. I—II. Göttingen, 1963.

² См.: А. И. Данилов, А. И. Неусыхин. Цит. соч., стр. 120—134.

обществах широкого слоя свободных — рядовых, полноправных, ни от кого не зависящих людей. Их существование, вопреки утверждению К. Босля, не «загадка» и вполне «вписывается» в картину той эпохи, если, разумеется, не представлять ее себе столь односторонне и предубежденно, как это склонны делать Т. Майер и его последователи.

Признание наличия в древнегерманском обществе родовой знати, пользовавшейся влиянием и авторитетом среди соплеменников, отнюдь не дает возможности принять антиисторический взгляд сторонников указанного направления относительно извечности аристократического строя у германцев. Древнегерманская знать и знать раннефеодального общества — далеко не одно и то же, это две различные и по происхождению и по существу общественные группы, хотя переходы и элементы преемственности между ними могли иметь место¹.

В противовес теории «королевских свободных», истолковывающей свободу в обществе раннего средневековья как негативную категорию (поскольку она возникает в результате избавления зависимых и неполноправных людей от неволи), советские исследователи обнаружили позитивную природу свободы соплеменника в варварском обществе² и наполнение свободы в феодальную эпоху новым содержанием³.

Свобода не возникает впервые в ходе перестройки франкского общества и в связи с политикой королевской власти. И этот тезис историков школы Т. Майера невозможно принять. Королевская власть не создает социальную структуру, исходя из интересов своей политики. Тем не менее следует отметить, что эти историки в мистифицированном и искаженном виде затронули очень важную проблему. Это проблема трансформации свободы, происходящей при переходе от варварского общества к обществу раннефеодальному, проблема качественных изменений в содержании свободы крестьян в новых социальных

¹ См.: Ю. Л. Бессмертный. Некоторые проблемы социально-политической истории периода Каролингов в современной западноевропейской медиевистике. В сб.: «Средние века», вып. 26. 1964, стр. 105, след., 113—114.

² См.: А. И. Неусыхин. Возникновение зависимого крестьянства..., стр. 33.

³ См. выше, § 1.

условиях. Вместе с тем это и проблема отношения между свободным крестьянством и государством в феодальную эпоху. Ложная трактовка проблемы свободы в трудах упомянутых выше западных историков не делает ложной самую проблему. К сожалению, в нашей медиевистике, давшей справедливую отрицательную оценку взглядам западногерманских историков, не была подмечена рациональная проблематика, облеченная в фальсифицирующие построения. Между тем новые вопросы в науке подчас ставятся первоначально в искаженной формулировке, нередко дискредитирующей их содержание.

Приведенный в предшествующих разделах книги материал дает основание, как нам кажется, утверждать, что королевская власть действительно играла активную роль в процессе развития феодальных отношений. Мы видели, как значительная часть свободных общинников подпала под власть церкви и светских господ вследствие раздач королями своих прав по отношению к этим крестьянам. Право сбора угощений, кормлений, посещения пиров, которые устраивались соплеменниками для короля (князя), передавалось им своим приближенным, монастырям, служилым людям; тем самым свободные крестьяне оказывались подчиненными получателям пожалований, а кормления и продуктовые поставки, утрачивавшие добровольный характер по мере укрепления королевской власти, в руках знатных лиц и церковных учреждений перерастали в феодальную ренту. Таким путем происходило в Англии «освоение» феодалами крестьян и их земель, пожалованных королями на правах бокленда. Тенденция к превращению кормлений и даней в регулярные подати и поземельные платежи обнаруживается и в скандинавских странах. Эволюция термина «вейцла» в этом отношении очень показательна. Первоначальное его значение — «пир», «угощение». Но затем он приобретает дополнительное значение — «кормление»; по таким кормлениям, упорядоченным и ставшим обязательными для крестьянства, разъезжали конунги. Вейцлой стали называть и материальное обеспечение, которое получал служилый человек короля (так и называвшийся — вейцламан), поставленный им «кормиться» в определенной местности. Наконец, термин «вейцла» распространился на самую эту местность: она сделалась округом кормления. В отличие от англосаксонского бокленда, террито-

рия которого из округа кормления превратилась в вотчину, скандинавская вейцла этой эволюции, видимо, до конца не прошла. Однако тенденция развития ясна. Напрашивается параллель между скандинавской вейцлой и древнерусским полюдьем, которое со времен Ольги опиралось на систему княжеских погостов. Дальнейшее «окняжение» и «обоярение» кормлений и деревень, с которых они следовали, вело к превращению погостов в вотчины¹.

Историки, стоящие на точке зрения теории Königsfreie, утверждают, что «королевские свободные» якобы принадлежали королю; поэтому он и мог передавать их монастырям и светским магнатам. Но данные источников, на которые ссылаются эти историки, нуждаются в ином истолковании. Пожалование свободных людей и их земель церкви или знати — еще не доказательство того, что эти люди стояли в особом личном отношении к королю, а их владения принадлежали ему на праве собственности. Выше уже неоднократно подчеркивалась неправомерность применения понятия «частная собственность» к поземельным отношениям эпохи раннего средневековья. Жалованные грамоты и другие документы той эпохи могли говорить о передаче всех прав, включая свободу неограниченного распоряжения, — фразеология юридических документов была заимствована из римского права. Но в действительности за этой традиционной фразеологией и терминологией скрывались новые отношения, далеко уже ей не соответствовавшие. Подлинным объектом королевских пожалований сплошь и рядом были не зависимые люди и не земли, являвшиеся собственностью короля, но те полномочия и права, которыми он реально располагал по отношению к своим свободным подданным, в том числе и аллодистам: право сбора кормлений и дани, присвоения судебных штрафов, право суда, военная власть. Все эти права или часть их король жаловал магнатам. Но эти пожалования, при таком их понимании, никак не могут свидетельствовать о личной зависимости от короля крестьян, являвшихся объектом пожалований (вернее, пожалований прав по отношению к этим крестьянам). Критики теории «королевских свободных» уже отметили то решающее обстоятельство, что крестьяне, на

¹ С. Юшков. Эволюция дани в феодальную ренту в Киевском государстве в X—XI вв. «Историк-марксист», кн. 6, 1936.

которых распространялись пожалования, сохраняли право свободного распоряжения своими землями, и что, следовательно, их земли не расценивались королем как его «полная собственность»¹.

Современный словарь не дает вполне адекватных понятий для описания подобных явлений. Можно, конечно, говорить о пожаловании прав «верховенства», о передаче «публичной власти» над крестьянами, о «верховной собственности» короля, о ранней форме его феодальной собственности, но все эти определения неточны и могут запутать дело. Трудность состоит в том, что передача королем полномочий (еще одно не слишком удачное выражение!) знатному лицу или монастырю не носила, строго говоря, ни публично-правового, ни тем более частноправового характера, ибо самое разграничение «публичного» и «частного» не осознавалось в такой форме². Поэтому мы предпочитаем говорить о передаче власти над людьми, жившими на определенной территории, власти, которая отчасти могла распространяться и на их земли.

Следовательно, пожалования королями власти над свободными людьми и собираемых с них доходов — пожалования, которые играли огромную роль в генезисе феодализма у англосаксов и в Скандинавии, практиковались и на континенте Европы, в частности во Франкском государстве³. Отношения между королевской властью и свободным крестьянством выглядят, однако, далеко не так, как это рисуют сторонники теории «королевских свободных». Источники сообщают не об особом сословии лично подчиненных королю и получивших от него статус *Königsfreie*, а о широкой массе свободных крестьян — рядовых свободных (*Gemeinfreie*), свобода которых претерпевает определенные изменения в результате королевских пожалований. Но дело не в одних пожалованиях.

Еще более существенно то, что между раннефеодальным государством и свободным крестьянством устанавливались противоречивые отношения. Свободные люди представляли для королевской власти контингент армии,

¹ См.: А. И. Данилов, А. И. Неусыхин. Цит. соч., стр. 129.

² «Феодализм... есть отрицание этого разграничения». *F. Pollock and F. W. Maitland. The History of English Law. Vol. I. Cambridge, 1898, p. 230.*

³ См.: Н. Ф. Колесницкий. К вопросу о раннеклассовых общественных структурах. В сб.: «Проблемы истории докапиталистических обществ». Кн. I, стр. 621, след.

на их собраниях решались местные дела, они участвовали в судах, в охране порядка. До тех пор пока существовал достаточно широкий слой свободных аллодистов, королевская власть находила в них свою социальную опору и могла противостоять притязаниям магнатов¹. В тех странах, где свободное крестьянство не исчезает и в феодальную эпоху (в Англии, в Скандинавии), королевской власти удавалось противодействовать центробежным силам. В этих странах долго не изживались традиции «военной демократии» и король в какой-то мере продолжал играть роль предводителя народа.

Свободные крестьяне, со своей стороны, нуждались в покровительстве короля и органов его власти, защищавших их — пусть непоследовательно — от притеснений церковных и светских господ. Кроме того, в короле они видели воплощение благополучия страны и народа².

Но по мере роста окружавшего короля служилого слоя происходило укрепление самостоятельности королевской власти на новой основе: король в меньшей мере нуждался в народном ополчении, отдавая предпочтение профессиональному конному тяжеловооруженному войску. Вместе с тем крестьяне, поглощенные сельскохозяйственным трудом, не могли регулярно выполнять функции

¹ См.: А. Р. Корсунский. Образование раннефеодального государства в Западной Европе, стр. 149.

² Представления о сакральной природе королевской власти у германских народов — не измышление реакционных историков, как утверждают Н. Ф. Колесницкий (в сб. «Средние века», вып. 18, стр. 154, след.), Э. Вернер (*E. Werner. Charismatisches Erbe merowingischer Adelssippen?* «*Zeitschrift für Geschichtswissenschaft*, XV, 1967, S. 1207—1211) и некоторые другие ученые. Эти представления не возникли впервые под влиянием христианства, которое, вне сомнения, усилило их и по-новому обосновало, но, по-видимому, существовали еще в языческую эпоху. Если это кажется спорным для историков, изучающих источники по истории континентальных германцев (см. критические замечания А. И. Неусыхина по адресу К. Гаука в сб.: «Средние века», вып. 20, 1961, стр. 294—300), то источники по истории скандинавов дают на этот счет большой материал. Мнение С. Пекарчика о том, что учение о сакральной природе королевской власти в Скандинавии — результат сознательной пропаганды «в современном смысле» (С. Пекарчик. Сакральный характер королевской власти в Скандинавии и историческая действительность. «Скандинавский сборник», Х. Таллин, 1965, стр. 177. Далее автор несколько смягчает свои утверждения, см. там же, стр. 183, 189, след.), на наш взгляд, рационализирует подлинную картину духовной жизни и религиозно-политических представлений скандинавов дохристианской поры.

воинов, участников народных и судебных собраний¹. Между крестьянством и королевской властью вырастал новый слой военных и служилых людей, постепенно сосредоточивавших в своих руках воинские функции, управление, суд. Свободное крестьянство, за исключением его верхушки, поставлявшей пополнения в этот феодализирувавшийся социальный класс, утрачивало свое прежнее значение в глазах короля и все более превращалось в объект эксплуатации.

Отныне короли ценили в свободных людях не столько политическую силу, способную играть активную роль в общественных отношениях, сколько плательщиков податей, кормлений, исполнителей государственных барщин и служб². С них требовали поставки кораблей, транспортных средств, лошадей, продуктов, фуража, участия в постройке и ремонте укреплений, дорог, в перевозках, предоставлении постоя людям короля, короче говоря, использовали их в качестве носителей государственного тягла. От воинской службы они также не были освобождены, но поскольку далеко не всем мелким владельцам она была под силу, то им приходилось либо в складчину снаряжать одного воина от нескольких наделов, либо оставаться дома, работая на более обеспеченных людей, уходивших на войну. Воинская служба, являвшаяся прежде признаком свободы и полноправия, одной из наиболее почетных обязанностей члена племени, превращалась для основной массы свободных крестьян в тяжкое бремя, от которого они чаяли избавиться³.

Свобода этих людей, тесно сопряженная с государственным тяглом, оказывалась своеобразной формой зависимости от королевской власти, источником их эксплуатации государством и его представителями. Вместе с тем, как мы видели, слой свободного крестьянства и его земли явились тем резервом, из которого короли производили пожалования в пользу церкви и знати.

Таким образом, функциональная связь крестьянской свободы с государственной властью в период раннего

¹ См. выше, § 1.

² См.: *Н. Ф. Колесницкий*. Исследование по истории феодального государства в Германии (IX — первая половина XII века). М., 1959, стр. 224—225.

³ См. выше, § 1.

средневековья действительно существовала. Однако она имела совершенно иной характер, нежели это предполагали сторонники теории «королевских свободных»: свобода крестьян не создавалась королевской властью, но она трансформировалась в условиях развивавшегося феодального государства, коренным образом меняя свое существо. Из свободы-полноправия членов варварского общества она превращалась в ограниченную, ущербную свободу-зависимость подданных короля.

В этом свете, очевидно, и нужно рассматривать вопрос о свободном крестьянстве в феодальном обществе. На средневековой крестьянской свободе явственно отпечатывается основной антагонизм этого общества.

Распространено мнение, что феодализм исключает свободу крестьянства, что становление феодального строя сопровождается всеобщим закрепощением сельского населения и что свободная крестьянская собственность — «преходящее» явление в эпоху раннего средневековья. Выше уже была показана неверность этих утверждений. Даже в наиболее феодализированных странах Европы на протяжении всего средневековья сохранялась прослойка свободных крестьян, не находившихся в зависимости от крупных землевладельцев. Наряду с ними существовали лично свободные крестьяне, подчиненные сеньорам чисто номинально. Они обладали собственными землями и могли ими распоряжаться без вмешательства сеньора. Ренту они платили символическую: пару шпор или перчаток, каплуна, фунт воска и т. п. Этот «чинш в знак признания зависимости» от сеньора не имел никакой материальной ценности. Судебная зависимость таких людей от сеньоров, если она вообще имела место, была легкой. По сути дела, это свободные владельцы, подчиняющиеся феодальному принципу «*nulle terre sans seigneur*».

Многие историки склонны считать прослойку свободных аллодистов, сохранявшуюся в тех странах, где основная масса крестьян была втянута в вотчинную зависимость, пережиточным явлением, осколком «дофеодальной» социальной системы, расценивать ее в качестве признака незавершенности феодализации. Но, во-первых, такого рода «незавершенность» наблюдается почти повсеместно. В той же Франции — «классической» стране феодализма — существовали районы с высоким процен-

том аллодиальных землевладельцев¹. В Германии, Англии этот слой был еще шире. Велик он был и в Италии, и в других странах Европы.

Во-вторых, представление о свободе крестьян в средние века как пережитке «дофеодальной» эпохи не подходит к странам, в которых свободное крестьянство преобладало. Видеть в свободном крестьянстве средневековой Норвегии только наследие варварского общества — значит отказаться что-либо понимать в ее социальной структуре, которая ведь и базировалась на свободных бондах. Но этот «заповедник» крестьянской свободы с XII или с XIII в. знал феодальный строй вооруженных дружин, феодальную монархию и церковь, имел господствующий класс, живший за счет крестьянства. Следовательно, речь должна идти не о том, что феодализм якобы несовместим с крестьянской свободой, а о том, *как* он с нею реально соотносен. Ссылкой на пережитки мы равным счетом ничего не объясним. Мы видели, что свобода крестьянства в феодальном обществе качественно отличается от свободы соплеменников в варварском обществе. Нас не должно вводить в заблуждение то, что средневековая крестьянская свобода-зависимость может внешне напоминать старую «народную» свободу германцев. Восходя генетически к «дофеодальной» свободе, свобода средневекового крестьянства — новая по своему содержанию. Она может быть правильно понята только в контексте феодальной системы, интегральной частью которой она является. Будучи функционально связана с феодальным государством, средневековая крестьянская свобода включается в механизм социальных связей феодального общества, налагая на них свой отпечаток и во многом определяя особенности всей общественной системы.

¹ См.: Н. П. Грацианский. Бургундская деревня в X—XII столетиях. М. — Л., 1935. A. R. Lewis. The Development of Southern French and Catalan Society...; R. Boutruche. Une société provinciale en lutte contre le régime féodal. Rodez, 1947.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Почему в Европе возник феодализм? На этот вопрос наука еще не дала достаточно убедительного ответа. Однако, по меньшей мере, один важный результат историками достигнут: был отвергнут целый ряд предложенных объяснений. Продемонстрирована несостоятельность попыток искать решение этого вопроса в классовых конфликтах античного мира¹: борьба рабов и других угнетенных против господствующего класса была бесперспективна в социологическом смысле: она не открывала никакого выхода из кризиса позднеримского общества. Римская социально-политическая система потерпела крах не потому, что в недрах ее созрели новые общественные силы, — не исключено, что в этом случае она бы проявила способность к трансформации. Не находит никакой опоры в конкретных данных истории и мысль о том, что феодализм якобы сменил систему рабства вследствие развития производительных сил, сделавшего неизбежным переход к более прогрессивным производственным отношениям. В первые столетия после падения Империи в экономической жизни во многих отношениях наблюдался регресс по сравнению с древностью, прогресс становится заметным только при сопоставлении раннего средневековья с эпохой варварства, которая тогда закончилась для большинства народов Европы. Но и при таком сопоставлении вряд ли можно обнаружить значительные качественные сдвиги в экономике. Мелкое производство при господстве натурального хозяйства не создавало сколько-нибудь широких

¹ См.: А. Р. Корсунский. Проблема революционного перехода от рабовладельческого строя к феодальному в Западной Европе. «Вопросы истории», 1964, № 5.

возможностей для повышения производительности труда. В целом уровень производства в период раннего средневековья не был выше уровня производства, достигнутого в античности; наоборот, долгое время он даже был ниже.

Но и развитие варварского общества само по себе не порождало феодализма. Возможности этого общества изменяться, по-видимому, нередко переоцениваются. Ни в производстве, ни в социальной структуре, ни в политической организации варварские племена Европы, в первую очередь германцы, не переживали коренных сдвигов на протяжении периода, предшествующего Великим переселениям народов. Их социальная структура была такова, что способность ее эволюционировать была чрезвычайно ограничена. То, что общественный строй варваров был очень консервативным, лучше всего доказывается анализом общественных отношений тех народов и племен, которые не переселились на территорию Империи. Сопоставление данных скандинавских источников XII—XIV вв. с сообщениями античных авторов о древних германцах обнаруживает сходство поистине поразительное, если учесть, что между рассказом Тацита и записями права Норвегии и Швеции пролегло более тысячелетия!

Великий спор между романистами и германистами об истоках феодализма не принес победы ни одной из сторон именно потому, что поиски истоков нового общества они вели в неверном направлении. Идея романо-германского синтеза, взаимодействия социальных отношений Рима и варваров представляется более перспективной. Однако конкретизация этой идеи — скорее пожелание, чем уже достигнутый наукой результат.

Очевидно, для разрешения «загадки» генезиса феодализма требуется выдвижение новых гипотез, подход к этой старой проблеме с разных сторон.

Выше было высказано предположение, что взаимодействие варваров с покоренным ими населением Империи открыло путь к развитию феодализма прежде всего потому, что вызвало крах традиционной социальной системы германцев, не пережившей перипетий завоеваний и переселений. Человек, не находя более поддержки со стороны сородичей и соплеменников, вынужден вступать в новые общественные связи, которые могли бы дать ему помощь и защиту и удовлетворить потребность в интеграции в составе «малой группы».

Человек варварского общества — всегда член органической группы. Вне таких групп он не был способен существовать в качестве полноправного деятельного члена общества. Устойчивые и в достаточной мере сплоченные социальные группы были необходимым условием как материальной, так и духовной его жизни. Не только в хозяйственном и имущественном отношениях, но и социально-психологически варвар нуждался во включении в определенную плотную сеть социальных связей. Распыленность социальной практики члена варварского общества, который был и трудящимся, и членом народного собрания, и воином, и участником судебных сходов, находила отражение в отношениях индивида с социальным целым: варвар не представлял собой вполне обособленной личности. Неразвитость человеческой индивидуальности (в понимании ее, сложившемся в новое время) в этом обществе и отсутствие частной собственности (опять-таки в буржуазном ее понимании) — явления, между собой связанные: человек не представлял собой субъекта, четко и осознанно противопоставлявшего себя как социальному, так и природному и вещному окружению, в котором он видел бы только объект приложения собственных сил, способностей и прав. В своей духовной, моральной жизни он был ориентирован не «вовнутрь», а «наружу»: ее центр находился не в нем, но в группе, к которой он принадлежал; его поведение в наименьшей степени определялось индивидуальным выбором или личными склонностями, он был подчинен системе регламентации, навязываемой обществом.

Расшатывание родовой структуры было вызвано завоеванием, которое привело варваров в совершенно чуждую им по всем показателям среду и поставило перед необходимостью организовать над ней свое господство. Вековые связи варварского общества ослабевали и рвались, окончательно распадался род, большая семья делилась на малые (индивидуальные) семьи, изменилась община. Те социально-правовые разряды, которые составляли основу стратификации варварского общества — знать, свободные, зависимые, — дифференцировались, утрачивали бывшее определяющее значение. Между тем социальная «валентность» человека — потребность его в обладании определенным набором общественных связей и способность их поддерживать — не ослабевала. Мы мо-

жем представить себе индивида, входившего в варварское общество, как «ядро», в которое стягивалось известное число социальных «нитей», связывавших его с другими индивидами. Если некоторые из старых «нитей» рвались, возникала необходимость завязать новые отношения.

Но в изменившихся общественных условиях уже не удавалось восстановить связи прежнего типа, возникали качественно новые связи. На смену связям по крови, родовым отношениям приходили отношения территориальные, соседские, отношения между побратимами, членами защитных гильдий, товариществ. Люди, лишившиеся поддержки родственников, вынуждены были искать покровительства у могущественных особ. Место сородича в системе социальных связей начинал заступать господин. Отношения между сеньором и вассалом первоначально строились в известной мере по образцу отношений родства; в памятниках раннего средневековья часто встречается прямое сопоставление первых и вторых. Таким образом, распад родовых отношений своей оборотной стороной имел создание социальных связей сеньориально-вассального типа, отношений господства и подчинения.

В этих новых группах воспроизводилась традиционная ориентация человека на группу, по-прежнему подчинявшую его поведение строгому конформизму. Сама же группа, в которую входил индивид, была ориентирована «вовнутрь», представляла собой замкнутый, самостоятельный и самоудовлетворяющийся мирок, с относительно слабыми связями с другими группами. Однако общество не может вовсе распасться на изолированные самодовлеющие ячейки. Поскольку мы говорим об обществе, предполагается какая-то форма общения между составляющими его группами; общество есть система социальных связей. Такая система существует в раннефеодальном обществе. Носителями межгрупповых связей здесь выступают лица, возглавляющие малые группы, прежде всего сеньоры. В их руках сосредоточиваются те социальные функции, которые прямо не связаны с производством: военная, судебная, управленческая, религиозная.

Таким образом, переход к феодальному разделению труда выражался в функциональной специализации членов общества. Отныне индивид был либо только земледельцем, либо исключительно воином, либо духовным лицом. Круг его общественных интересов сужался, но поле

деятельности становилось более интенсивно насыщенным. Внимание и навыки крестьянина сосредоточивались на труде, рыцаря — на ратных занятиях, клирика — на общении с богом и духовных заботах о пастве. Вырабатывались различные типы человеческих индивидов, соответствовавшие роду занятий и классовой принадлежности. Человек оказывался прикованным к той социальной роли, которую он играл в обществе. Он подчинялся определенным моральным требованиям, предъявляемым к нему его классово-сословным статусом.

Переход от варварского общества к феодальному, следовательно, означал и смену типов индивидов. Этот переход в плане социально-психологическом был столь же сложным и длительным процессом, как и самый генезис феодального строя, составной частью которого он являлся. Но невозможно говорить о становлении человеческой личности в современном смысле слова. Индивид по мере углубления общественного разделения труда все более срастался со своей социальной ролью. Он представлял собой крестьянина, ремесленника, купца, рыцаря, священника, но не личность, которая занимается сельским хозяйством, ремеслом, торговлей, несет военную или церковную службу. Иначе говоря, его занятие, общественная роль, функция, которую он выполнял, принадлежность его к определенному классу и сословной группе определяли всю структуру его индивидуальности.

Феодальное общество — общество относительно жестких статусов, стабильных сословных категорий. Социальная мобильность ему не свойственна. В рамках статуса и профессии человек пользовался относительной свободой и мог выражать себя и свои личные качества в своей деятельности и в эмоциональной жизни. Но индивидуальная свобода как широкая возможность выбора жизненного пути и личного поведения в средние века была ограничена. В этом смысле в феодальном обществе никто не был лично свободен — от зависимого крестьянина до князя и государя. Самосознание человека могло развиваться в той степени, в какой оно было связано с его социальной ролью. Поэтому феодальное сословное общество воспринималось его членами как естественный социальный порядок: индивид не перерос его и вряд ли мог вполне сознавать свою несвободу. Принадлежность к группе была важным источником сознания социальной устойчи-

вости и чувства уверенности индивида, — как то было и в варварском обществе.

Повторяем, перестройка структуры человеческого индивида — неотъемлемая сторона развития «дофеодального» общества к феодализму. Выработка нового отношения индивида к обществу и нового типа человеческого самосознания была частью процесса становления механизма социального контроля, присущего феодальной системе.

Но очень многое в этом новом феодальном механизме было заимствовано — в измененной или даже в традиционной форме — у предшествовавшего общества. Феодальный строй не порывает полностью с варварской социальной структурой, он включает в себя ее элементы.

Пути формирования феодальных отношений были различны: все зависело от местных условий и исторических традиций. Во Франкском государстве были распространены самоотдача крестьян под власть магнатов и дарения земель в пользу церкви: оказываясь в результате такого дарения и связанной с ним коммендации под властью духовного лица или церковного учреждения, крестьянин продолжал владеть своим хозяйством, но поскольку он отныне не был полноправным свободным, то и не обязан был исполнять военную службу; в этом заключалось определенное преимущество прекариста перед мелким свободным аллодистом.

В некоторых других странах самоотдача крестьян под власть магнатов не была столь распространена. Здесь функциональное общественное разделение труда осуществлялось по преимуществу путем раздач государем служилым людям или церкви тех доходов, которые он собирал с крестьян. Получатели пожалований и дани приобретали возможность существовать за счет этих крестьян и в той или иной мере подчиняли их своей власти. Нечто подобное нередко происходило и при пожаловании иммунитета.

Формы установления власти феодалов над крестьянами были разными, неодинакова была и степень подчинения крестьян и лишения их личной свободы; конечный результат повсеместно был один и тот же: создание отношений господства и подчинения, которые распространялись уже не на одних рабов, вольноотпущенников и других несвободных или полусвободных людей, но охватывали главную часть населения. Возникали классы фео-

дальных господ и зависимых подданных. Общественное разделение труда становилось источником эксплуатации и угнетения феодалами крестьян.

* * *

Нельзя не заметить: в этой книге нет определения феодализма. Оно не дано не потому, конечно, что автор, претендующий на рассмотрение ряда проблем генезиса феодального строя в Западной Европе, сам не знает, что именно возникало и формировалось. Напротив, внимательный читатель, несомненно, составил себе представление о понимании феодализма, которое лежит в основе книги. Но представление о феодализме и определение феодализма — не одно и то же. Первое может быть достаточно гибким, изменчивым, способным включать по мере необходимости различные оттенки и освещать разные стороны проблемы. Второе по необходимости отличается известной жесткостью, отработанностью, однозначностью; определить — значит «определить», «поставить предел». Но, призывая к новому рассмотрению проблемы генезиса феодального строя, автор как раз и не хотел исключать те или иные вопросы, которые не вытекают из принятого определения феодализма, но постановка которых, возможно, оказалась бы плодотворной для его понимания.

В характеристику феодальной формации, которая принята в нашей медиевистике, обычно включаются следующие основные признаки: (1) противоречие между крупной собственностью на землю и мелким производством крестьян; (2) внеэкономическое принуждение, необходимость которого проистекает из этого основного противоречия в производственных отношениях. Условный характер земельной собственности и ее иерархическая структура, а равно и иерархия самого господствующего класса считаются «внешними, правовыми признаками» феодализма¹: надстраиваясь над системой производственных отношений, они не входят в существо феодализма².

¹ См.: «История средних веков», т. I. М., 1966, стр. 10—11; М. А. Барг, С. Д. Сказкин. История средневекового крестьянства в Европе и принципы ее разработки, стр. 69.

² Во введении (см. стр. 7) мы отправлялись от указанных двух признаков феодализма как исходных для дальнейшего анализа.

Нельзя не согласиться с существенностью указанных основных признаков феодального строя. Но, будучи принципиально важными, они сами по себе еще недостаточны для его появления. Более того — эти признаки характеризуют не один лишь феодализм. И крупное землевладение с эксплуатацией мелких производителей, и внеэкономическое принуждение встречаются в других социальных системах, помимо феодальной, играя в них также чрезвычайно важную роль. Не по этой ли причине многие историки были склонны видеть феодализм в поздней Римской империи?

Дело, однако, не в отдельных признаках. Если понимать общественную формацию как систему, все основные элементы которой между собой взаимосвязаны и находятся в функциональном взаимодействии, то для ее характеристики недостаточно выделения одного-двух критериев, сколь бы существенными они ни были. Очевидно, необходимо принимать во внимание и другие стороны этой социальной системы. Их соотношение и степень относительной важности вряд ли можно установить априорно. Иначе говоря, нужно выйти за пределы одних лишь производственных отношений и рассмотреть специфические, для данной именно формации характерные формы общественных отношений вообще.

Неотъемлемая черта феодализма, как уже неоднократно подчеркивалось выше, — господство межличных, прямых социальных связей и их преобладание в раннефеодальном обществе над отношениями чисто вещного типа. Эта черта не есть специфический признак феодализма, ибо она характеризует любую формацию, в которой товарное производство не становится регулятором общественной жизни. Но без непосредственных личностных отношений между людьми нет феодализма. Недостаточный учет этого признака социальных систем в докапиталистических формациях — серьезное препятствие для достаточно глубокого их понимания.

Социальные отношения в феодальном обществе можно подразделить на несколько типов. Во-первых, это отношения господства и подчинения между землевладельцами и зависимыми крестьянами, антагонистические отношения между господствующим классом и классом угнетенным. Во-вторых, это отношения покровительства и службы, обмена услугами между представителями различных ка-

тегорий в господствующем классе: вассалитет, сеньориальное господство, сюзеренитет. В-третьих, это отношения сотрудничества и взаимной поддержки членов корпоративных и общинных групп. Нетрудно заметить, что если первый и второй типы феодальных отношений относятся к системе «вертикальных» общественных связей (господство и подчинение), то третий тип характеризуется преобладанием «горизонтальных» социальных связей (членство в общине, цехе, гильдии, сословии, союзе и т. д.), в той или иной мере переплетающихся со связями «вертикальными».

Мы полагаем, что для характеристики феодальной системы существенно учитывать все эти типы социальных связей. Их сочетание может быть различным. В одних обществах корпоративное начало выражено сильнее (в Западной Европе), в других — слабее (например, в Византии), и это не может не накладывать своего отпечатка на всю систему. Не исключено, что, исходя из указанной типологии общественных отношений, можно было бы построить и типологию феодализма. Мы полагаем, что подобная типология имела бы преимущества перед той, о которой говорилось во Введении, когда северофранцузскую «модель» феодализма прилагают ко всем другим феодальным обществам, вынося им оценку «недоразвитый», «неклассический», «нетипический» феодализм¹. Не случайно все чаще выдвигаются возражения против применения «западноевропейской модели» феодализма к обществам, расположенным за пределами Европы². Типология социальных связей позволила бы с достаточной гибкостью оценить все конкретное многообразие общественных систем, которые, несмотря на их специфические черты, можно и нужно относить к феодальному типу. Не исключено, что к этому типу принадлежат некоторые общества не только средних веков, но и древности, и нового времени. Мы слишком привыкли ставить знак равенства между понятиями «феодализм» и «средневековье», но ведь

¹ См.: З. В. Удальцова. Задачи изучения генезиса феодализма в странах Западной Европы. «Вопросы истории», 1966, № 9, стр. 61, след.; Ю. Л. Бессмертный. Изучение раннего средневековья и современность. «Вопросы истории», 1967, № 12, стр. 92—93.

² См.: R. Coulborn (ed.). Feudalism in History. Princeton, 1956; J. W. Hall. Feudalism in Japan — a Reassessment. «Comparative Studies in Society and History», Vol. V, N 1, 1962; «Проблемы истории докапиталистических обществ». Кн. I.

это уравнение, действительное для Европы, может оказаться и неверным для других частей земного шара.

Буржуазная историография обычно дает урезанное, лишенное существеннейших признаков определение феодализма, исключая из него систему отношений производства. Справедливо критикуя этот взгляд, историки-марксисты, как нам кажется, слишком поспешно вывели за рамки определения феодального строя в качестве «внешних» все его черты, не входящие в круг производственных отношений. По-видимому, при понимании феодализма как целостной функционирующей системы необходимо включать в его характеристику все типы социальных связей, устанавливая формы их соотнесенности и взаимодействия.

ОГЛАВЛЕНИЕ

	<i>Стр.</i>
Предисловие	3
Введение. Феодализм: «модель» и историческая реальность . .	7
Глава I. Проблема собственности в раннее средневековье	26
§ 1. Аллод и феодал	26
§ 2. Богатство и дарение в варварском обществе	63
Глава II. Индивид и общество в раннее средневековье	83
§ 1. Обычай и ритуал по варварским Правдам	83
§ 2. Человек и социальная группа в варварском обществе	116
Глава III. Некоторые аспекты процесса феодализации	145
§ 1. От свободы к зависимости	145
§ 2. «Несвободная свобода»	184
Заключение	214

Арон Яковлевич Гуревич

ПРОБЛЕМЫ ГЕНЕЗИСА ФЕОДАЛИЗМА В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ

Редактор *Т. Г. Липкина*

Переплет художника *А. И. Демко*

Художественный редактор *С. Г. Абелин*

Технический редактор *Н. М. Тобольцева*

Корректор *М. М. Сапожникова*

А-11210 Сдано в набор 3/1—69 г. Подп. к печати 14/XI—69 г.
 Формат 84×108¹/₃₂ Объем 7 печ. л. 11,76 усл. п. л. Уч.-изд. л. 11,99
 Изд. № ОБЩ-526 Тираж 4000 экз. Цена 62 коп.
 Тематический план изд-ва «Высшая школа» (вузы и техникумы) на 1969 г.

Позиция № 323

Москва, К-51, Неглинная ул., д. 29/14,

Издательство «Высшая школа»

Московская типография № 8 Главполиграфпрома
 Комитета по печати при Совете Министров СССР,
 Хохловский пер., 7. Зак. 3014

